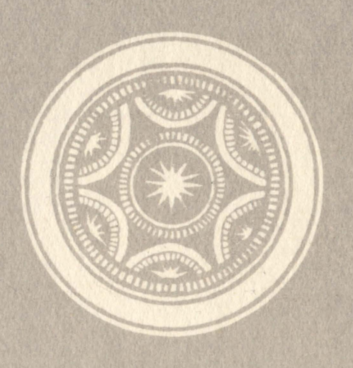
Ксения Гемп

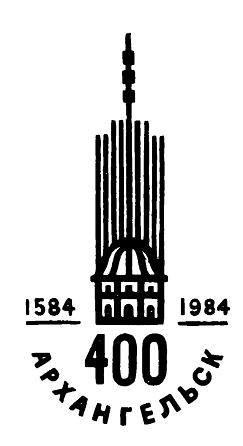
Сказ о Беломорье



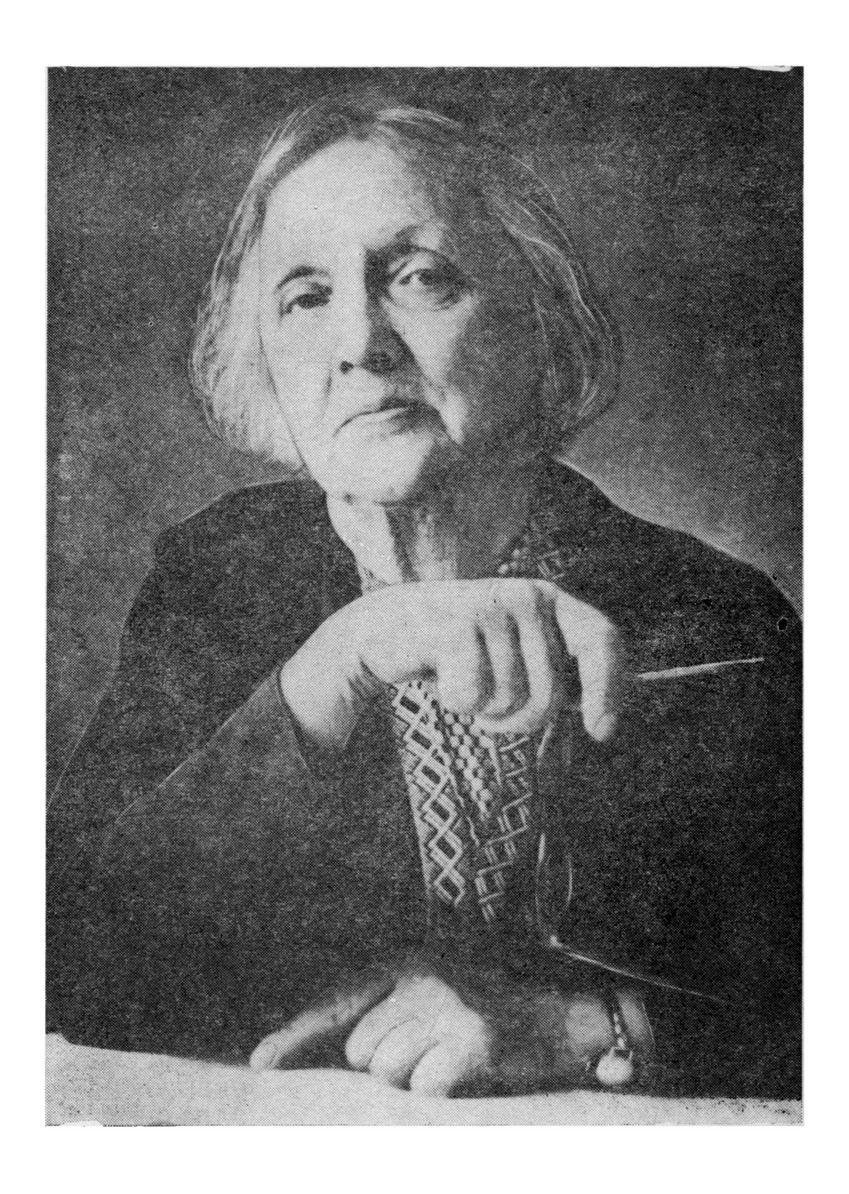
Сказ о Беломорье Ксения Гемп







АРХАНГЕЛЬСК
СЕВЕРО-
ЗАПАДНОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1983



ОБ ЭТОЙ КНИГЕ И ЕЕ АВТОРЕ

Ксении Петровне Гемп, известному биологу, несравненному знатоку Русского Севера, краеведу, лектору-общественнику, есть что вспомнить, есть что рассказать. Бестужевка, современница легендарных исследователей Арктики Георгия Седова и Владимира Русанова, с которыми она была в дружеских отношениях, очевидец революции и гражданской войны на Севере, человек, который своими ушами слышал вещее слово Марии Дмитриевны Кривополеновой, этой великой сказительницы с Пинеги...

Главной привязой К. П. Гемп, ее любовью на всю жизнь стало Беломорье, его люди. И потому сказание о Беломорье стало и сердцевиной ее книги.

Белое море Ксения Петровна читает как книгу. Она хорошо знает его переменчивый характёр, ей ведомы все ветры и подветерья, она может, что называется, назубок перечислить все острова и островки, все отмели и кошки — а их сотни, тысячи.

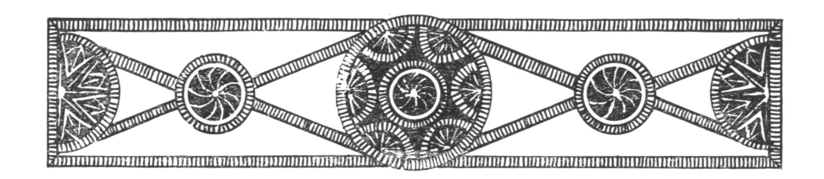
Но, конечно, с особой, покоряющей силой пишет она о поморах — об этом удивительном племени бесстрашных и многотерпеливых людей, выкованных суровым морем. Да по образу жизни своей, простой и аскетичной, по складу характера она и сама сродни поморке.

Повествование К. П. Гемп о поморах, о их жизни и быте, о их нравах и обычаях, об особом — высочайшем — в их среде культе слова можно без преувеличения назвать энциклопедией народной культуры Беломорья.

К какому жанру отнести книгу К. П. Гемп? К воспоминаниям? К энтографическим очеркам? В книге бездна этнографического материала. И все-таки это не воспоминания, не записки этнографа.

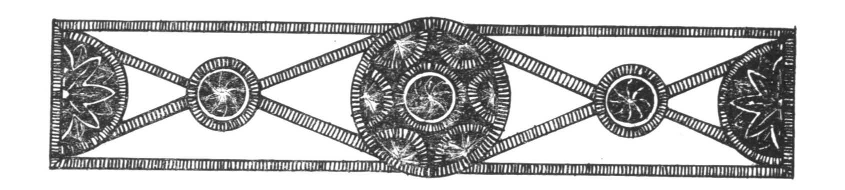
Это свободный, раскованный рассказ человека, который выступает в самых разнообразных ипостасях: то как неутомимая, более чем с пятидесятилетним стажем труженица моря, то как ученый-биолог, то как географ и историк, то как этнограф и фольклорист. И потому таким богатством содержания и красок отличается эта книга. Книга, которая, я не сомневаюсь, будет с живейшим интересом встречена самым широким читателем.

Федор АБРАМОВ









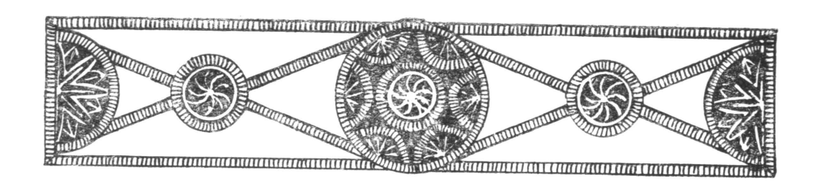
КСЕНИЯ ГЕМП

СКАЗ О БЕЛОМОРЬЕ



9(С12)
Г33





Русский Север! Мне трудно выразить словами восхищение этим краем, мое преклонение перед ним. Когда впервые, мальчиком тринадцати лет, я проехал по Баренцеву и Белому морям, по Северной Двине, побывал у поморов, посмотрел на этих необыкновенно красивых людей, державшихся просто и с достоинством, — я был совершенно ошеломлен. Мне показалось — только так и можно жить по-настоящему: размеренно и просто, трудясь и получая от этого труда столько удовлетворения! В каком крепко слаженном карбасе мне довелось плыть («идти», сказали бы поморы), какими волшебными мне показались рыболовство, охота. А какой необыкновенный язык, песни, рассказы... И вот, спустя более шестидесяти лет, я готов поклясться, что лучшего края не видел. Я зачарован им до конца моих дней.

О Русском Севере много пишут наши писатели-северяне. Но ведь они — северяне, многие из них вышли из деревни (вышли, но в какой-то мере и остались), им стеснительно писать о своем. Им самим иногда кажется, что похвали они свое, и это будет воспринято как бахвальство. Но я родился в Петербурге и всю жизнь прожил только в этих трех городах: Петербурге, Петрограде, Ленинграде, может быть, еще и в Питере — это особый, рабочий город, выделившийся из Петербурга. Мне-то писать о моей бесконечной любви к Русскому Северу вовсе не стеснительно...

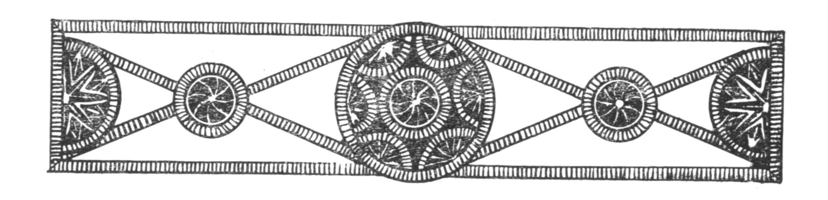
Самое главное, чем Север не может не тронуть сердце каждого русского человека, — это то, что он самый русский. Он не только душевно русский — он русский тем, что сыграл выдающуюся роль в русской культуре. Он спас нам от забвения русские былины, русские старинные обычаи, русскую деревянную архитектуру, русскую музыкальную культуру, русскую великую лирическую стихию — песенную, словесную, русские трудовые традиции — крестьянские, ремесленные, мореходные. Отсюда вышли замечательные русские землепроходцы, полярники и беспримерные по стойкости воины.

Да разве расскажешь обо всем, чем богат и славен наш Север, чем он нам дорог и почему мы его должны хранить как зеницу ока. Сюда ездят и будут ездить, чтобы испытать на себе нравственную целительную силу Севера, как в Италию, чтобы испытать целительную силу природы Европейского Юга.

Книг о Русском Севере не так много. Есть книги о северном деревянном зодчестве, о северных ремеслах, о северном фольклоре, но о Севере как таковом, о мужественных и простых северянах, никогда не испытавших на себе гнетущей унизительности крепостного права и сохранивших во всей своей манере работать, держаться, общаться друг с другом уважение к человеку, — таких книг почти нет. Поэтому я с радостью рекомендую книгу Ксении Петровны Гемп советскому читателю.

Это замечательная книга. Одна из самых патриотичных, но безо всякой патриотической патетики, преисполненная любви и уважения к людям нашего Севера. Низкий поклон Ксении Гемп за ее труд.

Академик Д. С. Лихачев



ОТ АВТОРА

Впервые я повстречалась с Белым морем, его берегами, деревнями и селами поморов, с их бытом и культурой в 1903 году. Это было долгожданное шестинедельное путешествие. Из Рикасихи, после трехдневного похода в Амбурский скит, — на неделю в Солзу, дальше на десять дней в Неноксу с двухкратным выездом в Куртяево, по-местному в Куртяву, затем двадцать дней жизни в Сюзьме.

Переезжали из села в село по почтовому тракту на трясучих тарантасах, набитых сеном, их тянули неторопливо трусящие, запряженные в пару лохматые лошадки, иногда пускавшиеся вприскочку. На спусках с холмов (с угоров) и на съездах с берегов на паром возница схватывал колеса тарантасов цепью для торможения. Лошади спускались медленно, осторожно, приседая на задние ноги, а нам казалось — летим в пропасть.

На остановках, довольно частых, грели самовар, который везли с собой, чаевничали, отдыхали от тряски, бегали, разминая ноги. В пути не торопились.

В деревнях, намеченных для летнего отдыха, основательно устраивались у кого-либо из местных жителей, старых знакомцев родителей. Старшие — бабушка, организатор путешествия, и две ее спутницы — располагались в доме, а мы, три девочки 7—9 лет, всегда занимали на ночь клеть, небольшой отгороженный угол повети для хранения хозяйственных предметов — и еще используемых, и уже отслуживших, но, кто знает, которые еще могут пригодиться.

Свежий, с холодком под утро, воздух, пахнущий травой, болотцем и теплом нижнего двора, протяжное мычание коров, собирающихся в стадо под переливы пасту-

шьего рожка, позванивание колокольцев, подвязанных на шею каждой корове, какое-то особенно жалостное, дребезжащее блеяние овец, перекличка звонкоголосых поморок-хозяек прогоняли последние остатки сна.

После завтрака мы неслись с деревенскими ребятишками к морю, на пески отмелых солзенских или сюземских прибрежий.

А по вечерам было громадным удовольствием смотреть, как ставят или снимают на речках заколы на рыбу, ждать на угоре возвращения с моря рыбаков, слушать разговоры наших старших с поморками...

Все было для нас новым, особенным. Все запомнилось навсегда, усилило интерес и любовь к своему краю. До этой поездки я бывала только в пригородных деревнях и по Двине до Пиньгиши, а по Ваге до Шенкурска. Беломорье, даже и на таком малом участке, который довелось увидеть в детстве, было каким-то иным миром. Поняла это «иное» позднее.

Посчастливилось мне, да и не раз, побывать в Николо-Корельском монастыре, на Соловках и на Кий-острове. Об этих путешествиях по морю особый разговор, это дополнительные впечатления, очень своеобразные. Здесь были встречи с новыми людьми, «ненашенскими» — народ стекался к «святым местам» отовсюду.

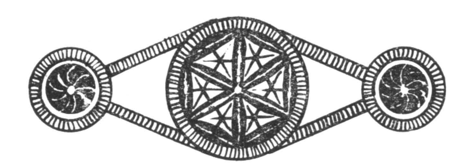
В юношеские и зрелые годы побывала я, тоже не раз и в различные времена года, на всех берегах и во всех частях Белого моря до мысов Святого и Канина. Но впечатления, детские и юношеские, о впервые открывшемся Беломорье не исчезали и не исчезли до сих пор, они легли в основу понимания своеобразия исторически сложившейся там жизни природы и человека и оценки Беломорья сегодняшнего. Несется там современная жизнь вперед, внося новое и в условия труда, и в культуру, и в быт, обогащая образ жизни поморов. Но следует кое о чем исчезнувшем и исчезающем пожалеть, попечаловаться, а чему-то пожелать «воскресения», и обо всем вспомнить добрым словом. Все, что было, — это наша история, наше великое культурное наследие, упорный труд наших предков, требовавший мужества, отваги, смекалки, труд зачастую тяжкий, а то и, как говаривали поморы,— надрывный. В этом труде человек познавал мир, свой край и утвердился в своих силах, возможностях, закалил характер. И доказал верность ломоносовских слов: «Мужеству человека предел не положен».



БЕЛОМОРЬЕ













еломорье — раздольный, но суровый край. Трудно определить границы Беломорья и содержание этого понятия. Это и Белое море, и его жизнь, и его берега, и человек, заселивший их, и труд его, и быт, и радость творчества. И на всем глубокий отпечаток того же моря, с которым были связаны и жизнь, а часто и смерть помора. Во всем неповторимое своеобразие Севера.

«ИГРАЛО МОРЕ С БЕРЕГАМИ...»

Белое море — небольшой, полузамкнутый ковшеобразный водоем, глубоко вдающийся в сушу. Площадь его акватории около 95 000 км², объем 8000 км³, длина береговой линии почти 3000 км. Среди двенадцати морей, омывающих берега Советского Союза, меньше Белого только Азовское море.

Белое море в связи с его очень своеобразными очертаниями и особенностями его вод принято делить на три части. Северная, самая мелководная, по ее форме образно названа *Воронкой.* Ее северо-западный входной мыс, Святой Нос, и северо-восточный, Канин Нос, отстоят друг от друга почти на 155 км. Здесь вход в Белое море, его ворота. Через Воронку происходит обмен вод Баренцева и Белого морей. В юго-восточный берег Воронки вдается обширный, беспокойный залив *Мезенский.* Он назван по имени реки Мезени, впадающей в него. Средняя часть моря — *Горло* — это сравнительно узкий, с каменистым ложем быстроводный пролив, в котором перемешиваются баренцевоморские и беломорские воды. Он соединяет Воронку и *Бассейн* — южную, наиболее обширную и глубоководную часть моря. В берега Бассейна глубоко

вдаются три залива: холодный *Двинский,* мелководный, более теплый *Онежский** и живописный глубоководный *Кандалакшский.* Первые два залива, восточный и южный, названы по именам впадающих в них крупных полноводных рек — Двины и Онеги. Наименование Кандалакшскому заливу дали, по-видимому, саамы, на их языке «канда» — красивый, а «лакша» — залив.

Все берега Белого моря поименованы, одиннадцать названий! На востоке море ограничивают берега *Канинский, Конушинский, Абрамовский, Зимний,* на юге — *Летний, Онежский, Лямицкий,* на западе — *Поморский, Карельский, Кандалакшский,* на северо-западе и севере — *Терский.* Эти имена закреплены уже на первых географических картах Беломорья как сложившиеся и принятые в обиходе местного и поморского населения задолго до создания карт.

У каждого берега свои приметы, в бухтах свои воды, своя особая жизнь, многое не так, как у берега-соседа. Издавна знают об этом поморы. «Кажной наш берег на отличку, а залив все тот же, один — Мезенский», — говорят в Семже. А в Чапоме услышишь: «Бережки наши живут сами по себе. Знаем, куда и за чем идти». Разнообразие и многообразие жизни в прибрежных водах Белого моря — его особенность.

В плавании, на промысле необходимо было определиться — где же ты сам находишься? — вот по отличительным признакам и возникали наименования, закреплялись за отдельными участками берегов, за губами, проливами, приметными местами, банками, коргами, корожками, нилаксами и кошками. Выручало Слово. Берегут, ценят его в Поморье.

Белое море — море особое по своим «привычкам», сложившимся в силу многих условий его истории, геологии, конфигурации и гидрологии, а также в связи с его положением среди морей Северного Ледовитого океана. Его биологию справедливо считают более приметной сравнительно с биологией других морей Мирового океана, а может быть, и в чем-то уникальной. В Белом море представлены растения и животные пяти географических поясов — от бореальных до арктических.

Воды Белого моря непрерывно обмениваются с вода-

---

* В некоторых картографических изданиях встречаются названия: Мезенская губа, Двинская губа, Онежская губа. *Примечание редакции.*

ми Баренцева. С северо-запада, минуя Святой Нос, через Воронку поступают соленые тяжелые баренцевоморские воды, они идут на восток — в Мезенский залив, на запад — в Кандалакшский и дальше против часовой стрелки вдоль всех берегов моря, опускаясь ниже более легких беломорских вод, опресненных водами многочисленных впадающих рек. Это постоянное двухслойное течение наконец проходит мимо Канина Носа и вливается в Баренцево море. В непрерывном круговороте воды Белого моря питаются за счет вод Баренцева.

Два раза в сутки к берегам Белого моря приходит большая, или полная, «живая» по словам поморов, вода. Это прилив. И два раза она уходит, обнажая у берегов широченную осушку. Это отлив, малая, или сухая вода, «куйпога» по-поморски. Четыре раза в сутки вода «кротеет», на какой-то кратчайший срок затихают силы прилива или отлива. Вода «стоит» — это «маниха». Затем вода вновь «заживает» — начинается прилив или она «западает» — начинается отлив. Каждый период длится почти шесть часов, как ему положено. Дважды в месяц Белое море знает большие и дважды — малые приливы и отливы; при новолунии и полнолунии возникают наибольшие — сизигийные приливы и отливы, а при первой и последней четвертях луны наименьшие — квадратурные. Во всех морях Мирового океана уровни вод периодически изменяются под воздействием фаз луны, все моря знают приливы и отливы, но уровни их у каждого моря свои. Среди морей Советского Союза Белое море имеет самые высокие показатели уровней приливно-отливных вод. Эти показатели не однозначны для различных районов моря, приливная вода идет с неодинаковой скоростью, и уровень вод в прилив выше в районах с большею скоростью приливного течения. В Мезенском заливе можно наблюдать приливы высотой до 10 метров.

Воды Белого моря не знают покоя.

Наше море открыто восьми ветрам: *с ночи, полуношнику, встоку, обеднику, с лета, шелоннику, с заката, побережнику* и всем их «подветерьям». Как разгуляются эти ветречки, вздымут волну и взводни — хлынет накат на берега! Многие нагоняют тяжелые тучи.

По природе своей наше море суровое, холодноводное, в южной части приполярное, а в северной уже полярное. Беспокойное, быстро меняющееся и непогодливое,

не так-то часто бывает оно ласковым. Но все же бывает, особенно в июле—августе, и ласку его не забываешь. Тишина и слабое поблескивание вод и какой-то особый над ними свет, чуть затуманенный даже при солнце. Небо бледно-голубое, без синевы. Все это как-то смутно тревожит.

Весной, поздней и короткой, Беломорье оживает стремительно. День прибывает, света, даже сквозь тучи, здесь много. Постепенно отходят льды, но тепла еще мало, воды моря еще не прогрелись, но все идет в рост не по дням, а по часам. Начинают зеленеть травы, кусты, березы — всё как-то вдруг, словно спешит. И это при частых туманах, дождях, иной раз и со снегом, при тяжелых тучах и возвратах холодов. Но вот зацветают ели и сосны. Удивителен, незабываем период их цветения. Это какие-то особые, сначала зеленоватые цветки, затем они становятся желто-оранжевыми, душистыми, коричневеют и уже осенью мы видим шишки, полные семян.

В летнюю межень на море тишь да гладь. Воды к берегу подходят мягко, чуть приплескивая на кромке прилива, на отмелях, у каменистых корг и баклышей. И цвет их уже иной, не свинцовый, а светлой блестящей стали с зеленоватым отливом, и пена воздушная, и тоже светится.

Солнце уйдет на закат, но заря, золотисто-розовая, не меркнет, а иной раз запылает багрянцем.

Достигло днéвное до полночи светило,
Но в глубине лица горящего не скрыло,
Как пламенна гора казалось меж валов.
И простирало блеск багровый из-за льдов.

М. В. Ломоносов

Блестящий цвет закатной зари сменяется каким-то матовым, слегка приглушенным светом белой ночи. Так замирает, тускнеет день. Но нет ночного покоя, только тревожная белая ночь. Это наваждение длится недолго. На востоке уже разгорается утренняя, чистая, прохладная заря. Кажется, день полностью еще и не закончился, а уже начинается новый. Стрелами поднимаются ослепительные солнечные лучи, а за ними вот-вот покажется огненный краешек светила. Снова посвистывают, кричат, перелетают чуть было примолкнувшие птицы,

забывшие про ночь. Они вьются над гнездами, заложенными на берегу среди камней. «Успокоительно тако утречко, человека-то как радует».

Случается, да и нередко, что и летом тишь стоит недолго, потянет ветерок-моряна, и зарябит вода морская, а там, смотришь, уже и волна беломорская пошла, частая, крутая и острая. Рванет ветер посильнее, и начнут один за другим вставать взводни. Срывает ветер их седые вспененные гребни, несет клочья пены, бросает их на берег, пылит по морю. На коргах и поливухах вода кипит, веером высоко взлетают брызги. На берег идет накат, бьет о камни и скалы, на мелководье мутит пески и илы. Несутся тяжелые, темные, зловещие тучи, вот-вот прольются холодным дождем. Идет шторм. «Летом нагоняют погоду ветречки с ночи да с встока».

Бывает, и в шторм на исходе дня, перед закатом, чуть проглянет краешек солнца. Штормовые закаты особенные, багровыми языками пламени последние лучи солнца изредка прорываются сквозь низкие тучи.

Прекрасно море в бурной мгле
И небо в блестках без лазури

А. С. Пушкин

Летом шторм в Беломорье долго не держится, разве что перейдет в ненастье. Через день-два, а иногда и через три — снова перетишье, блеск вод, играющих у бакланов, всплески на поливухах, крики птиц, их возня на валах выброшенных морем водорослей. И ребятня, собирающая раковины, камешки, пинагоров и пилорезов (этих рыб волна часто выбрасывает вместе с водорослями). И запах моря, запах свежести, водорослей — памятный, не надышишься.

Обильны, разнообразны были травостои на материковых берегах и на некоторых островах Беломорья. На Летнем берегу певали:

Высоки взростали наши травы,
Цветики пестрели, колыхалися метелочки.

Издавна славились поморские сенокосы. Холмогорцы ставили сена́ на беломорских берегах Двинского бара. На павозках перевозили это лучшее сено для знаменитых холмогорок. Луга не запускали, они не зарастали кустарником, не заболачивались.

В тихий летний день, когда воды Белого моря кажутся неподвижными, застывшими, далекий горизонт

внезапно начинает дрожать, колебаться, изламываться и вначале медленно понизу, а затем быстрее и поднимаясь вверх все затягивается легкой мглой, марью. Кажется, что дальний берег, острова приближаются, очертания их искажены, их темные контуры очерчены узкой, слабо светящейся полоской. Они оторвались и от земли, и от моря и повисли в воздухе. Это марево, мираж.

Впервые беломорский мираж я видела в 1951 году, проходя на карбасе вдоль северо-восточного берега Онежского залива между устьями рек Курженьга и Лопатка. К западу от этого пути между морем и небом повисла такая знакомая башня Жижгинского маяка, опрокинутая вниз вершиной.

Несколько секунд длился мираж, но память о нем, впервые увиденном, живет годами. Мираж затем видела многократно, и каждый раз он удивлял, и все кругом казалось неустойчивым. Наука объясняет его природу точно, коротко: «Мираж вызывается преломлением световых лучей в атмосфере, а явление это именуется рефракцией». Все же поморское объяснение «марево» возникает в памяти первым, как только встретишься с миражем.

Быстротечно прекрасное лето в Беломорье.

А осень здесь затяжная, солнце показывается редко, частые дожди сыплют как из сита. «Угомону дожди по осени не знают». О приполярном Севере напоминают дожди со снегом, а затем и снег с дождем, с ветром. «Падера одолела и сегодни, и вчерась». Ветры порывистые, холодные. Затянут — конца им нет. И, кажется, несутся они «отовсюль». Море штормит, все реже и реже бывает спокойным.

Ох, полуношник, полуношник,
Не любой ты ветречок,
Не любой, шкодливой —
Море беспокоишь, рыбака томишь.

Горизонт какой-то дымный, небо белесое, равнодушное, и все чаще оно затянуто тучами — низкими, тяжелыми, беспросветными. Но и в эту пору выпадают прелестные дни, тихие или с бодрящим ветерком, и недолгое спокойствие разливается вокруг. В такие раннеосенние дни остро пахнет вялым листом, травой и особенно мхами и багульником. В начале сентября нередко выпадают особо ясные темные вечера.

Небо черное вызвездит...

Мерцание далеких звезд, их блеск на темной легкой морской ряби... Малая Медведица опрокинет свой ковш, засияет голубая Полярная звезда. Посмотришь на нее и вспомнишь тех, кто выбрал ее как бы девизом. Для встречи с этим немеркнущим явлением стоит побывать на Белом море. Но такие ясные ночи считанные.

Осенью, единственный раз, довелось мне повстречаться с беломорским смерчем. В конце августа 1950 года стояло ненастье; казалось, нависшие серо-синие тучи опрокинутся в море, темное, со свинцовым отливом на волне. Дождь уже миновал. Начинался прилив. Неожиданно с северо-запада рванул холодный настойчивый ветер. Волна пошла крупнее, на отмели к западу от Пул-Корги поднялись взводни, гребень их стал загибаться, навстречу ему опустился язык тучи. Они соединились, и небольшой столб воды понесся к Ухт-Наволоку, в прибрежье. Он опал высоким накатом. Все кончилось, полил дождь.

Зимой Белое море льдом полностью не покрывается, и у берегов припай не везде стоит прочно. Неустойчивый ледяной покров взламывают и ветры, и течения. Льдины торосят, громоздятся, безудержно, упрямо лезут одна на другую, ничто не остановит их. Нарастают ропаки, а на мелях да на стамиках растут и стамухи — горы льда высотой до нескольких метров. Ледяные исполины высотой до 5 метров встречаются в Мезенском заливе. Между плавающими льдинами, серо-белыми, с голубизной и прозеленью, живет вода, темная, с натугой переливающаяся. Страшно взглянуть в ее глуби. Отдельные льдины медленно, неуклонно, тяжко плывут по течению, сталкиваются, разбиваются. Шорохи, стуки. Иной раз и грозовой грохот, гул стоит, когда трещины рвут ледяные поля, когда нарастают или распадаются стамухи. А на берегах все бело, но вершины скал, гор и холмов да их крутые склоны темнеют. Пожилая поморка рассказывает: «Снéги у нас чистые, как упали с небес, так и лежат, не затоптанные, не заезженные, не городóвые (не городские)». Особенно они белы по сравнению с небом — нависшим, серым, темно-серым, каким-то тоскливым. А молодые в хороводе распевают:

Зимой-то у нас падут снежочки белые,
Снежочки белые да пушистые.

Часто бывают годы, когда эти чистые, пушистые «снеги белые» смерзаются и лежат в перелогах от зимы до зимы. Так бывает на берегах в заливах Мезенском, Городецком, Лумбовском. Пурга и снежные заряды с завыванием и свистом ветра, с крутовертью и шорохами снега, с заносами и застругами, с бездорожицей навсегда запомнятся каждому, перезимовавшему в Беломорье.

В феврале—марте выпадают морозные ясные дни. Огненно-оранжевый, в легкой дымке, как бы притуманенный диск солнца не дарит теплых лучей, но вокруг него — отсвет, как нимб. Низко над горизонтом проходит светило «во мгле холодной».

Особенность Беломорья — туманы, в любое время года «как падут — зги не видать». Иной раз стелется туман над морем, а бывает, клубится на́д холмами, скалами и горами и вниз не опускается. «Зачнет замолаживать* — кормщик сам у правила стоит». В Белом море немало и камешков, и отмелей, опасайся их в туман.

Круговорот времен года в каждой части Беломорья, в каждом заливе имеет свои особенности и по времени, и по частоте повторяемости, и по силе проявления природных климатических явлений. «Море это все балует, по-своему вертит».

Суров климат Беломорья, но спокойно переносят его невзгоды поморы — и стар и млад. Понимаешь, откуда стойкость, выносливость, молчаливое мужество помора: жизнь закалила. «Привычны», — слыхала не раз это слово и от женщин, и от мужчин. Понимаешь спокойные, даже с усмешкой слова: «Так положено в нашем краю поморском, не изменишь».

Темной осенью, чаще зимой, увидишь в Беломорье еще одно чудо природы — северное, или полярное, сияние. Можно увидеть его и в Архангельске, но в городе оно по горизонту заслонено строениями, дымами.

«Глянь, небо-то зажглось, завеса его тайная открылась. Гляди, гляди, может, скоро закроется, никогда боле и не увидишь». В этих словах выражено и восприятие редкостного, таинственного северного сияния, и его поэзия. Сколько ни встречаешься с этим явлением, оно удивляет необычайностью, неповторимостью, пора-

---

* Затуманиваться.

жает красотой и неотвратимой силой. Его видишь и сквозь закрытые веки. Из-за горизонта, из неведомых темных недр поднимаются блестящие золотисто-розоватые лучи, наполненные каким-то внутренним биением. Их все больше, они сливаются в единую ленту, она дрожит, но не прерывается, неуловимо меняется, колеблется, расширяется, сжимается. Меняется цвет этой несравненной небесной завесы, то она розоватая, золотистая — и вдруг огненно-красная. Она закрывает далекий северный горизонт, тянется все выше, но никак не достигает тех высот, где движется полуденное солнце.

Только на какие-то секунды высоко взметнется, в половину небесного свода, яркое зеленоватое, по краям голубое, холодное пламя. Взор не успевает охватить его очертания, оно уже погасло. Еще раз на мгновение вспыхивает это пламя, но оно уже не такое яркое.

Но где ж, натура, твой закон?
С полночных стран встает заря!
Не солнце ль ставит там свой трон?
Не льдисты ль мещут огнь моря?
Се хладный пламень нас покрыл!
Се в ночь на землю день вступил!

М. В. Ломоносов

Ни с чем не сравнимое горение небес бледнеет, затухает, и чудо исчезло. Только безлунная ночь стала еще темнее. Сколько времени открыта завеса небес, не считаешь. Минуты, часы? Смотришь в очаровании каком-то. Никто лучше Михаила Васильевича не описал его. Он его видел не раз.

Своеобразны и потому особенно памятны берега Белого моря: то низменные, пологие, то возвышающиеся, обрывистые. Тут и яры-крутояры и отвесная, скалистая щелеватая пахта и щелья, и каменья размером от валунов до чевруя-арешника, осыпи и оползни, и пески сыпучие, и золотые пляжи, местами утрамбованные морем, — ступишь и даже следа не оставишь, и засасывающие черно-серые няши. Немало няш по Поморскому берегу Онежского залива и на мезенских берегах. «Не ходь туды, ульнешь в няшу», — дают совет жители берегов Мезенского залива. К слову, берега этого залива — сокровища, они наглядно рассказывают о некоторых периодах геологической истории Белого моря, истории достаточно сложной, заложенной в основу его современной жизни — гидрологии и биологии.

На берегах моря много природных отметин, учтенных еще мореходами прошлых веков, известных и ныне. Подскажут тебе: «Смотри, здешняя примета. Лишаи-лишайники на каменьях красеют», а кое-где и сама с радостью отметишь веселый мошок, вот он то белеет, то зеленеет. Особенно памятно разноцветье розовых, красных, лиловатых, зеленых, серых лишайников на серых камнях Юкова. Их не затаптывали и не срывали даже малыши. «Наша примета — юковская». Помню, еще в Сюзьме собрались мы, ребятишки, на ближнее болотце за морошкой. Бабушка всполошилась, как так без взрослых, а хозяйка Анна Николаевна спокойно заметила: «Старшему-то нашему одиннадцать скоро, все приметы знает, он и на дальни болотца сводит». Поражала нас, городских, наблюдательность ребят Беломорья. «Все подмечаем и на примету берем, без того не жизнь, а путаница будет, робят тому же учим», — заметила А. И. Щепетова из Сороки. Замечательная примета в Кандалакшском заливе — батюшко *Олений Рог,* «далеко его видать, в Кандалуху идучи, путь указует». Не подводили и мысы *Черный, Оборный* и *Белый Мох* и взглавья — это тоже приметы стародавние, они были известны всем поморам, ходившим в Норвегу брать рыбу еще три-четыре века назад. Служат приметами они и теперь, проверенные человеком и временем.

Наблюдательность жителей Беломорья развивалась, закреплялась, наследовалась в силу требований жизни. Первые поселенцы шли на Север, руководствуясь пониманием природы своего родного покинутого края да кое-какими рассказами удальцов-первопроходцев. В новом краю человек стоял перед еще не изведанным, не испытанным. Тут или пропадай, или выискивай сам пути-дороги, запоминай приметное, выбирай, используй сходное с уже знакомым. Так познавали новый мир, обживали его и накопили о нем поразительные по полноте и точности знания, умение ориентироваться и на суше, и на море.

О многом рассказывают нам географические названия беломорских берегов, островов и поселений. Северный берег Двинского залива — это берег Зимний, а южный — Летний. Эти названия даны по поморскому компасу, связывающему все северные направления с зимой, с ночью, а южные — с летом, с полднем. Терский берег, ограничивающий море с севера в Кандалакшском

заливе и с северо-запада в Горле, напоминает нам о полулегендарном народе «тре», жившем здесь до прихода новгородцев. Северо-западный входной мыс Белого моря называется *Святой Нос.* На прибрежье и в воде береговой зоны вокруг мыса множество гранитных обломков. Здесь постоянная крупная зыбь, сильный прибой, накат, поэтому берега его неприютны, бывали тут крушения немалые. По легенде поморов, промысловики, идучи под парусами и обходя этот мыс, твердили про себя: «Свят Никола, обереги нас» — вот и получился Святой Нос. На Зимнем берегу есть мыс, у которого при ветре вода ярится, он метко назван — *Вепрь.* Это географическое название дано и по характеру вод у бурного мыса, и в честь штурмана Ивана Елисеевича Вепрева, производившего в 1823 году описание Зимнего берега.

Извилиста береговая линия Белого моря (исключение — линия Летнего и Зимнего берегов), образует она многочисленные губы, бухты и каждая имеет образное местное название, большинство их закреплены на географической карте.

Вот губы *Волоковые,* их несколько на Белом и Баренцевом морях и имена их напоминают о том, как поморы, идя под берегом, на многих участках перетаскивали свои суда из одной губы в другую волоком по суше. Путь морем вокруг выдающихся входных мысов этих губ более длителен, волок сокращал его. К тому же прибрежье у многих мысов было коржистым, следовательно, и прибойным.

Вспомним, как во время великой Северной войны Русского государства со шведами за берега Балтики (1700—1721) из Белого моря в Балтийское были проведены в 1702 году военные суда — яхты и войска для окружения войск шведов. Яхты были оснащены в Архангельске, они прошли Северной Двиной и Белым морем до деревни Нюхчи, лежащей на южном берегу Онежского залива. Войска высадились, подняли яхты и другие подсобные суда на берег и дальше их катили на катках, волоком, 180 километров — до Повенца на Онежском озере. Для этого была вновь построена дорога еще до подхода кораблей. Поморы и местные крестьяне прорубили просеку через леса, уложили гати, временные бревенчатые мосты через речки, ручьи и бесчисленные «лешие» (самые непроходимые) болота. В строительстве участвовало почти 5 тысяч человек. Руководил строи-

тельством Михаил Щепотев, урядник бомбардирский.

В запряжке для каждой яхты было по 100 лошадей и помогали им по 100 человек. Этой «Осударевой дорогой» прошли, кроме крестьян-поморов, 4 тысячи солдат, обоз с провиантом и всем снаряжением для войска. Царь Петр Алексеевич и его соратники шли и работали наравне со всеми.

Корабли спустили в Онего-озеро, рекой Свирью вышли в озеро Ладожское, сердитое, неспокойное, и подошли с востока к шведской крепости Нотебург. Когда-то это была новгородская крепость Орешек. Приведенные Петром Алексеевичем корабли и войска присоединились к русским военным силам, уже начинающим наступление против шведов с суши. Нотебург был взят штурмом. Возвращенная крепость была названа Шлиссельбургом, теперь это Петрокрепость. Старинный опыт «идти волоком» пригодился.

Много рассказов и легенд сохранилось о дороге, которая давно заросла. Немало жизней унесла она. Но Россия вышла еще к одному морю — Балтийскому. Много мужества потребовалось от участников похода, и дорогой ценой был оплачен успех.

Хороши беломорские извилистые губы, названные *Виловатыми:* вьется, раскручивается их береговая линия, в каждой обилие наволоков, мысков, заливчиков, бухточек, заводей, есть и «закошачье», и «залудье», и у каждого закутка свое имечко. Самые крупные беломорские губы — это приветливая *Поньгома* с красивыми островами, вдающаяся в Карельский берег, и суровая *Порья,* врезающаяся в Кандалакшский. Каждая образует ряд своих губ и бухточек, все они поименованы.

В Поньгоме ее губы с широкими устьями, открытые, не заметишь, как переходишь из одной в другую. Поморские суденышки могут укрыться в Поньгоме и от ветра, и от волны. Не напрасно одна из ее губ называется *Домашней.* Но, как и во всех губах Карельского берега, в Поньгоме, кроме островов, много подводниц, луд и «всяких-то опасных неприятностей». Это уже суждение местных жителей, знатоков своей родной губы.

Губы Порьи — узкие и длинные, кинжальными лезвиями глубоко взрезают они северный берег Порьей; их восемь основных. «И кажна губа у нас наособицу, не спутаешь, у каждой свои луды, корги да каменья, и усья у их кажогодно перемыват». Суровость придает

всей губе каменистое возвышенное побережье, покрытое темным лесом. Много в губе островов — возвышенных и низких, голых и лесистых, много и всевозможных подводниц. «О Порьей-то не только песни поют, а и сказы сказывают». Упоминается она в документах — грамотах и ку́пчих XVI века — как «место рыбное и солеваренное».

Нельзя забыть и самую длинную (17 километров) беломорскую губу *Чупу,* ее высокие, каменистые и лесистые берега, отвесный мыс *Картеш* и большой лесистый остров *Олений.* Чупа упоминается в документах XVI века, как «рыбная». *Ругозерская* губа, как и Чупа, вдается в Карельский берег. Вся покрытая лесистыми островками, она по своему облику единственная в Беломорье. Ругозерская упоминается в документах XVI века как владение Соловецкого монастыря, который построил здесь острог. Его не раз осаждали «каянские немцы», но не взяли.

Большая *Унская* губа, единственная на Летнем берегу, — ковшеобразного типа, она соединена с морем узким извилистым проливом, в прибрежьях которого и в устье россыпи камней. Губа как бы повторяет очертания своего моря. Известна Унская губа уже в XIV веке как одно из пристанищ поморов-первооткрывателей на просторах и берегах Белого моря. В начале XVI века она была известна солеварнями, вырабатывавшими особо чистую для того времени соль «поморянку», известна была и «капустными огородцами», большой новостью для старого Беломорья.

У северо-западной границы Белого моря, у кромки с Баренцевым, находится самый обширный залив в северной части Белого моря — *Лумбовский.* Он врезается в Терский берег и соединен с морем двумя проливами — *Большими* и *Малыми воротами.* Их разделяет остров Лумбовский. Берега залива скалистые, серого гранита, крутые, местами высотой до 80 метров. Их прорезают узкие извилистые реки. Примечательна река *Черная,* пробившая себе путь — расщелину через темные высокие скалы, дно ее каменисто, а вода чистая, прозрачная. Повиснет ненадолго над нею полуденный солнечный луч, стиснутый высокими берегами, — и видишь издали сияющую расщелину, кажется, что она наполнена огненным светом, вблизи видишь на дне каждый камешек, проплывающую рыбешку. Луч ушел своим путем, и

опять река потухла, и снова — черные берега. Есть в заливе и реки с песчаным ложем, меняющие свое устье почти ежегодно. Острова в заливе гранитные, покрыты растительностью, ягодниками — морошечником, красной смородиной и изредка поляникой, ягодой «на отличку», духмяной, но встречается она редко. Величают ее и княженикой, ягодой княжеской.

На подходах к Лумбовскому заливу с северо-востока лежит корга *Чаишная,* одна из самых крупных и приметных в Белом море. Покоя ее воды не знают, они всегда играют, а при ветре бурлят и пенятся. Много водорослей на камнях этой корги, много птиц вьется над ней в тихую погоду. Напоминает она *Золотую* коргу, что лежит на севере Анзерской салмы. На Золотой корге — заповедный нерпичий «детский сад».

Уникальна реликтовая губа Белого моря *Долгая,* или *Глубокая,* врезающаяся в восточный берег Соловецкого острова. В губе особый гидрологический режим. Ее воды резко расчленены на горизонты. Через каждый метр по вертикали водной массы температура воды понижается на один градус, а после десяти метров глубины, у одиннадцатого метра, резкий скачок температуры, она понижается до нулевой, глубже — царство вод с постоянной отрицательной температурой до 1,65°. Но и там есть жизнь. Два озера — *Фельтон* и *Корыто* — круглогодично сливают в губу свои пресные воды. Зимой на участках поступления этих вод в губе образуется слоистый лед, между двумя плотными слоями его скапливается слой полузамерзшей с кристаллами льда воды. Поморы такой участок льда называют склянкой. Явление это встречается в Белом море не так уж часто.

Хороши лесистые островки на этой губе, берега их укреплены камнем еще в XVIII веке. Когда-то некоторые из них были соединены мостиками. Особенны флора и фауна этой губы, хранит она многие реликты. Примечательная губа.

В Белом море живет 208 видов донных водорослей, из них 115 видов — в прибрежьях Соловков. Некоторые из них имеют промысловое значение. Есть и эндемики — водоросли, встречающиеся только в этом море.

«Наше Белое морюшко островито, прислону в ем много», — сказал как-то Л. Гуляев, заготовлявший во-

доросли в Летнем Наволоке. Он потомственный помор, знаток. Самые «островитые» — Кандалакшский, Онежский заливы. Пожалуй, их мелкие островки полностью и не подсчитаны. В этих заливах преобладают группы шхерных островов, но есть и оди́нки. В заливе Двинском все острова сосредоточены в устьевом и предустьевом пространствах Северной Двины, а в Мезенском одиноко лежит большой остров *Моржовец*. Прибрежьям и береговой зоне каждого острова море придает особый облик. Под воздействием течений, прибоев, накатов, льдов и ветра скалистое прибрежье с веками медленно, но разрушается, пологое полируется, а песчаное то сужается, то расширяется — наносы. Некоторые острова разрушаются неуклонно, например Моржовец. Самое устойчивое, по-видимому, валунно-каменистое прибрежье, возможно, в далеком прошлом и оно было скалистым, но вода и ветер раздробили его и преобразили. Поражаешься разнообразию материковых и островных берегов Белого моря и вспоминаешь А. С. Пушкина: «Играло море с берегами...».

О многом рассказывает топонимика Беломорья — о его природе, об исторических событиях, о занятиях жителей и даже кое-что об их характерах и привычках. В Онежском заливе есть группа островов с поэтичным названием *Осинки*. Летняя Осинка лежит южнее остальных, «к лету». На этом крошечном островке, скалистом, с песчаными наносами, покрытом мелким осинником, березняком и шиповником, протекает ручеек с пресной водой. Откуда он пробился? Лежащая к северу Тонкая Осинка словно связана из двух островков. Крестовая Осинка названа по кресту, поставленному в прошлом веке рыбаками из Пурнемы в память погибших товарищей и как ориентир. Около креста были врыты в землю стол и скамья. Почитали этот памятник более ста лет, подновляли его сельчане. Несколько лет назад туристы сожгли крест — охота пришла уху на костре сварить да чаю согреть. Крест восстановлен рыбаками, но уже нет на нем нехитрой резьбы и надписей. В память кого поставлен? Забыто. Поперечина нового креста не ориентирована с севера на юг. Это только памятный знак, но уже не указатель пути, как было задумано теми, кто ставил первый крест. Есть еще остров Осинка у северо-западного берега Онежского залива. На отличку ее назвали — Осинка особая.

О природе Беломорья свидетельствуют названия островов *Лесной, Лиственничный, Ольховый, Сосновец.* В Двинском заливе есть остров *Лебедйн.* В течение многих веков на этом низком травянистом островке отдыхали лебеди во время весенних перелетов на север, к гнездовьям, и осенних — обратно на зимовку, к теплу. Немало в Белом море следов таких лебединых перелетов: лебяжьи ручьи, речки, бухточки, озерки. Летят лебеди по какому-то только им вéдомому пути и закону. Поморки говорят: «Белой лебеди пристанище никогда не беспокоим, несчастья себе не хотим». Имя маленькой бухточки *Бобровки,* вдающейся в берег губы *Островской,* расположенной в Кандалакшском заливе, говорит о том, что в прошлом на Кандалакшском берегу залива были бобровые гоны. Это подтверждают и документы Сийского монастыря, владевшего здесь в XVI веке промысловыми участками.

Когда-то, века два назад, еще можно было встретить в северной части моря моржа. Промышляли его. В наше время моржа в Белом море нет, осталась только память о нем в названиях островов Моржовец в Мезенском заливе, *Морженец* и *Моржовый* в Онежском. О фауне Белого моря напоминают названия: луда *Нерпичья* и мыс *Нерпинский.* Нерпа и в наше время живет в Белом море, ее промышляют.

Остров *Лодейный* в Кандалакшском заливе и второй с таким же именем в Онежском напоминают о тех надежных судах-лодьях, которые в XV—XVI веках строили поморы для далеких промыслов: на Мурманскую страду, на Маточку, к Шпицбергену и в Норвегу. С благоговением вспоминают в Поморье лодейных мастеров, лодейщиков. «Как строили-то!»

А вот два очень характерных для Белого моря голых, скалистых, с крутыми берегами острова — *Наумиха* и *Величаиха.* И названия у них поморские. Лежат они в Кандалакшском заливе, близ острова Великого. Наумиха темная, неприступная, а вокруг Величаихи камни, вода играет, нерпы тут проплывают, высунут из воды гладкие головки, глаза большие — любопытствуют. В Кандалакшском заливе у Карельского берега, в проливе *Глубокая салма,* при входе в губу Летнюю встречаем островок с неожиданным именем — *Скоморошии.* Упоминание о скоморохах в Беломорье встречается очень редко, поэтому название островка вызывает

интерес. Кто и когда назвал его? Скоморохи — это странствующие сказители, певцы, акробаты, музыканты, игравшие на гудках, сопелках, волынках. За сатирические песни-скоморошины, высмеивающие знать и духовенство, бродячие актеры в XV—XVI веках жестоко преследовались властью и церковью. Скоморохи искали убежище на Севере. В Подвинье сохранилось немало воспоминаний о скоморохах. До Беломорья они не дошли.

Примечательны два больших острова беломорских — *Кондостров* и *Великий*. Кондостров лежит в Онежском заливе. Это гранитный, высокий, массивный, местами с отвесными скалистыми берегами, истинно кондовый остров. Он покрыт хвойным лесом, в 1848 году на нем были высажены аллеями кедр, пихта, лиственница. Посадки хорошо прижились, дали потомство, кедр плодоносил. В настоящее время от этих аллей можно отыскать только кое-какие остатки. Кроме того, в 1969 году лес Кондострова погорел: туристы оставили незатушенные костры. Вокруг Кондострова много островков, лесистых и голых, луд, банок и корг. Район этот один из красивейших в онежских шхерах. К западу от Кондострова лежит группа островов *Вороньих*. Их облик, как и многих других, характерен для беломорских шхер: они скалисты, берега их отшлифованы, вокруг россыпи валунов. Вороньи острова — наследие льдов, спустившихся в котловину Белого моря со стороны Скандинавии, льдов, преодолевших все препятствия. Да и море поиграло их берегами. Остров Великий — самый крупный в Кандалакшском заливе. Он хранит многие растительные реликты. В прибрежье его — разнообразный видовой состав морских водорослей. Берега Великого изрезаны многочисленными бухточками с выдающимися входными мысами.

Есть на море, близ Соловецкого острова, в соседстве с Сеннухами, банка *Ватерлоо*. Тоже неожиданное имечко, к тому же хорошенькая у банки характеристика: «...маленькая,а обманная, кругом глуби, идешь в спокое, а в ненастье на шхуне и на коргу наскочить можешь». Помнил о Ватерлоо сам Наполеон. Название банки, а также названия и некоторых островов на Белом море принесли участники Отечественной войны 1812 года. Остров *Мельдáу* лежит в Онежском заливе, он невелик, но высок, покрыт травой и кустарником, кругом

камни, на которых богатый пояс водорослей. Нарядный островок. А остров *Париго́* лежит у входа в губу Домашнюю, такую приветливую, что он кажется здесь лишним. В войне 1812 года участвовал полк, сформированный из северян. В рекрутской песне, которую я слышала и записала в деревне Летний Наволок спустя, наверное, столетие после ее рождения, поется:

Наши-то поморы стеной стояли,
Родину свою хранили,
Врага на Белое море не пущали,
Да и Москву оберегли.

В названиях некоторых географических точек сказался и юмор поморов. *Лиходеиха* — гора на Терском берегу, в Горле, близ Пулонги. Гора примечательна осыпями склонов. На Летнем берегу есть тоня *Хламовка,* мало берут там рыбы, вот и прозвище ей не лестное. Есть и другие «непригожие места» с крутыми «морскими» наименованиями.

Участок акватории между Карельским берегом и островом Великим мило называют *Бабье море* — немногие ветры «хватают» его, «там жонки да робята и рыбачат», ловят мелкую треску. В Двинском же заливе есть и *Сухое* море. Осыхает эта губа в отлив почти наполовину, пески там кругом, потому и прозвище такое.

На Зимнем берегу Двинского залива лежит деревня *Зимняя Золотица,* а на Летнем Онежского — *Летняя Золотица,* обе на золотых мощных песках. Зимняя Золотица известна своими сказителями и сказительницами. Прославилась семья сказителей Крюковых — отец, мать и две сестры. Особенно широко известна Марфа Семеновна Крюкова. Район Зимней Золотицы, кроме того, отмечен археологическими находками периода неолита.

По всему Поморью была известна *Сорока,* беломорская красавица, жемчужина Белого моря. Раскинулось это старое село у губы *Сорокской,* на берегах рукавов и островов стремительного кипящего *Выга.* Сорока упоминается в документах начала XV века. Пять веков прожило село Сорока до переименования его в город Беломорск. Старожилы уверены, что поселение разрослось на сорока островах, что издавна соединяют их сорок мостов — «отсюда и имечко пошло». Местоположение прежнего села и современного города чуть ли не

венецианское, только не тихие каналы, а бурные стекловидные воды Выга бьют о каменистое ложе и смотрят в эти воды не дворцы, а еще кое-где сохранившиеся поморские хоромы да новые однотипные многоэтажки. Утратило поморское село свой неповторимый облик.

Много рек принимает Белое море, много среди них гремучих, стремительно несущихся по каменистому ложу, по перекатам и переборам. Всплескиваются на подводницах и поливухах, пенятся на банках и коргах. Это *Кемь, Поньгома, Ковда, Гремиха, Чаваньга* и многие другие маленькие, но беспокойные речки. Прекраснее всех Выг с его рукавами и поморка Поньгома. В дельте, при впадении в море, все реки как-то затихают. Наигрались.

Разнообразны условия природной среды Беломорья. Они определяют зональность растительных сообществ, развитие местных ареалов флоры и местные особенности морфологии древесной, кустарниковой и травянистой растительности. Здесь встречается растительность сильно увлажненных и засушливых почв, песков, скал, солончаков и тундры. Есть реликты.

Здесь можно проследить, что было 30—40 лет назад и что происходит в результате усиливающейся интенсивной деятельности человека по освоению природных богатств, выявить многие плюсы и минусы антропогенного воздействия, чтобы вовремя спохватиться и сделать, что нужно, по охране природы.

Нужно отметить, что в Беломорье есть свой север (полюс холода), он лежит не у северных границ моря, а сместился к югу, к устью Двинского залива.

ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛО ИМЯ ПОМОРСКОЕ...

Давно заселяются берега Белого моря, но еще до сих пор они не многолюдны. По железной дороге на Мурманск, с добавкой пешего хождения, можно добраться ко всем селениям от Онеги до Кандалакши. А по Канинскому, Абрамовскому, Зимнему, Летнему, Онежскому, Кандалакшскому и Терскому берегам от одного поселения до другого надо шагать и шагать: либо по тракту, либо тропой, либо берегом. «Торные» эти пути-дорожки: то увалы-перевалы, то каменья россыпью

и навалом, а песками идти тоже не радость. Вот и говорят об этих путях: «Идешь, и на девятый дён всего-то десята верста». Можно идти и с «попутчими» — под парусом на карбасе, а то и на моторке. На некоторые участки можно и на рейсовом пароходе добраться. Многое увидишь, многих повстречаешь, много рассказов услышишь во время пути. Но и времени на дороги уходит немало, и пути, как говорят поморы, «не круглогодовые». Поэтому такой успех имеет призыв «Летайте самолетами!» Но и им пути заказаны в беломорскую «погоду» и туманы.

Есть в Беломорье небольшие деревушки — не более десятка домов, но некоторые старые промысловые села и по сей день тянутся вдоль берегов на километр. Многие поселения упоминаются в документах конца XIV века; это корабельные пристанища на Летнем берегу Двинского залива: Уна, Луда, Ненокса. В более поздних документах, XVI века, встречаются названия: Солза, Сюзьма, Яреньга.

В конце XIV — начале XV века уже заселены, отдельными пятнами, материковые берега и острова в дельте и в предустьевом пространстве Северной Двины. Поселения, возникшие более пятисот лет назад, здравствуют и в наши дни. Это Княжестров, Кяростров, Конецдворье, Кудьма. В те же времена был основан Николо-Корельский монастырь. На территории, где он находился, вырос крупный город Северодвинск.

Заселяются берега и Онежского залива. В документах первой половины XV века упоминаются Сорока, Сума, Кемь и Соловецкие острова. Особенно много поселений возникает на юго-западных берегах Онежского залива в первой половине XVI века: Шуя, Нюхча, Нименьга, Унежма, Колежма. Позднее осваиваются восточный берег залива и Лямицкий берег Онежского полуострова. Деревни Пурнема, Лямца, Пушлахта появляются в начале XVII века.

В Кандалакшском заливе на Карельском берегу в первой половине XVI века уже известны Кереть, Чупа, Ковда. На Кандалакшском же берегу залива — деревни Порья, Костариха, Сальница, Умба.

Растет число поселений в XV—XVI и первой половине XVII века на Терском берегу: Кашкаранцы, Варзуга, Кузомень, Тетрино; а Пялица, Поной — это уже Горло моря.

На Зимнем берегу первые редкие поселения — однодворки, двудворки — возникают не позднее конца XIV века. В XVII—XVIII веках район осваивается интенсивно, здесь расселяются в основном промысловики-зверобои. Этот район ближе к основным скоплениям-залежкам морского зверя. Наиболее старые поселения — Куя, Керец, Инцы, Мегры, Майда, Койда, Кеды.

«Зимняя сторона» и Золотицкая слободка упоминаются в документах Сийского монастыря XV и XVI веков. Здесь монастырь кроме рыбных и солеваренных угодий имел еще и «сокольи гнезда», и бобровые ловища.

На этом берегу было больше, чем на других, старообрядческих скитов. Отсюда им был открыт путь на Кулой, Мезень и Печору, подальше от «злого глаза». Возможно, что скиты в XVII веке — первые крупные здесь поселения.

В процессе освоения Беломорья в период XI—XVI веков различаются три крупных потока поселенцев: новгородский — псковский, владимирский — ростовский — суздальский и московский. Поселенцы различных по времени потоков оседали по берегам Выга, Онеги, Двины и их притоков. Многие, главным образом первопроходцы-новгородцы, выходили в устья этих рек и шли дальше к северу на восток и запад вдоль морских берегов. Так постепенно были заселены все берега Белого моря. Редкие поселения растянулись на восток до мыса Канин Нос, а на запад почти до мыса Святой Нос. К концу XVI века на берегах Белого моря насчитывалось около двухсот постоянных промысловых поселений-становищ. Часть их принадлежала Соловецкому, Антониев-Сийскому, Николо-Корельскому и даже Кирилло-Белозерскому монастырям. Первоначально поселения были невелики, два-три двора, были и однодворки. Но уже к XVI веку по южному и западному берегам Белого моря многие мелкие поселения, например Ненокса, Сума, Кереть, Варзуга, разрослись в крупные деревни и посады с многочисленными солеварнями, часовнями, храмами и приходами, а следовательно, и большим населением. Крупные промысловые поселения организовывали свои «выселки» не только в Беломорье, но и на Мурманском берегу Баренцева моря. По переписным книгам 1608—1610 годов на Мурмане насчитано сорок семь постоянных поселений, связанных так или иначе с

Беломорьем, они его не миновали. Кроме постоянных поселений, на морских берегах на период морской страды — путины и зверобойки — возникали временные поселения — станы.

В условиях морского Севера заново определились занятия и сложился быт поселенцев, они были тесно связаны с новой жизнью у моря. За поселенцами с XII века закрепилось наименование «поморы». Потомки коренного населения всех берегов Белого и Баренцева морей гордятся этим именем. Предки нынешних поморов впервые осваивали берега и водные просторы холодных, грозных морей Студеного и Студенца (Баренцева), а они продолжают исконно поморские дела. Ну а пришедшие на северные моря уже в нашем веке еще не заслужили этого почетного имени. От них-то и пошла легенда о том, что поморы только те, кто промышляет морского зверя в Баренцевом море. Эту легенду, приняв ее за истину, впервые записал Вас. И. Немирович-Данченко, а некоторые современные исследователи, не проверив, подхватили ее и включили в свои труды как новейшее открытие.

Отсутствие на Севере татарского ига, бóльшая, чем в центре страны, безопасность от внешнего врага, отсутствие крепостного угнетения обеспечили поморам более свободную жизнь и не только сохранение, но и дальнейшее развитие принесенных поселенцами культурных и технических ценностей: грамотности, строительных навыков, архитектурных приемов, рисунка и живописи, поэтического творчества — песен и сказываний. Суровую природу — заломные леса, «лешие» болота и каменья неподступные необходимо было осваивать заново. В этом труде одновременно лесоруба, строителя, добытчика, создателя всех предметов домашнего обихода формировался характер помора, его мужество, смекалка, складывались и закреплялись быт и обычаи.

И что особенно примечательно, в течение XIII—XVI веков на основе русской лексики — и новгородцев, в первую очередь, и пришельцев из центральных областей — окончательно определилась и беломорская лексика: беломорский диалект и бытовая терминология.

Население Беломорья промышляло рыбу, морского и пушного зверя, варило соль, разводило скот, возделывало огородцы, а кое-где и обрабатывало землю под паш-

ню. Развивался и жемчужный промысел. Многие рыбные и зверобойные промысловые участки, обычно наиболее продуктивные, захватывали северные монастыри — Соловецкий, Сийский, Николо-Корельский, Михайло-Архангельский. К XVII веку здесь расширяют владения и монастыри подмосковные.

О раннем — в XIV веке — заселении Беломорья говорят многочисленные документы: летописи, писцовые книги, великокняжеские грамоты и указы. Появление более поздних поселений, XV—XVI веков, подтверждается дополнительными сведениями. Это купчие, причем не только на участки земли, но и на промыслы, а также вкладные в монастыри и церкви, в которых указаны и имена вкладчиков, и характер, и размеры вкладов. Все эти документы свидетельствуют о том, что главными захватчиками беломорских земель и угодий были отряды богатой знати Новгорода, — например Марфы Борецкой, Своеземцевых, Окладниковых, затем монастыри (впереди всех шел Соловецкий) и, наконец, поселенцы-смельчаки, на свой страх и риск осваивавшие то, что осталось на их долю. Последние свои трудом и обжили Беломорье, вышли за его пределы, на моря Северного Ледовитого океана. Это они и их потомки с полным правом гордятся именем — поморы.

Все, вновь пришедшие промышлять в Беломорье, первоначально ставили в бухтах, близ пресной воды, в устьях рек и ручьев, которых много впадает в Белое море, временные пристанища, а потом, освоившись с природными условиями, выяснив, где можно поставить избу, взять лес для стройки, где сенокосы и охота, где и что можно промышлять в море, уже оседали прочно, хозяевами. Первые поселения-однодворки были рассеяны среди редких поселений карелов и саамов. Пришельцы жили с соседями мирно, всем хватало землицы. Однодворки со временем разрастались в крупные поселения. Рост их был связан с основным занятием жителей — с морскими промыслами, которые требовали артельной работы.

Красовались на берегах эти большие деревни и села Беломорья. На угорах стояли рубленные и «в лапу», и «в обло» бревенчатые хоромы-избы. Венцы выложены так плотно, что кажется, бревно в бревно вросло. Между венцами проложен мох. Дом срубили, замшили, теперь обряжать да обживать его. «Дома-то семьей да со-

седями подымали». Встречались в Беломорье дома и в два обоконья, то есть в два окна по фасаду, но не было лачуг. Старые дома, в прошлом веке строенные,—обычно пятистенки, пяти- а то и шести- семиоконные. Семьи были большие, не делились. Избы более поздней постройки — трех- и четырехоконные, реже пять окон по фасаду. Ставили избы вдоль берега «глазом на воду», чтобы видеть, как рыбаки с моря идут. Ставили и порядками по двум сторонам улицы или дороги (дома друг на друга глядели) или в россыпь, в зависимости от характера участка. Пересекались над ними пути всех ветров и вьюг, но дома были возведены осмотрительно, истово. «Нещелеваты наши хоромы, да и печи кладены своеручно, тепла не упущают», — гордилась Анна Александровна Майзерова из Яреньги. «Новгородска привычка, крепко строили для себя, для сынов, для внуков». Да, не на десять лет строили, на сотни — и все из дерева. Славились своими хоромами Лопшеньга, Пурнема, Колежма, Сорока, Шуя, Кереть, Ковда, Варзуга. Хороши были хоромы мезенской Сёмжи, одно- и двухэтажные, здесь встречались висячие лестницы с рундуками и точеными перильцами (балясинами). «Мы ведь Москвы уголок, нам без красоты нельзя, — говаривала Анна Ефимовна Маслова. — Шелонники, те погрубже будут».

Считают местные жители, что Семжу основали вы ходцы из Москвы, потому и они все москвичи — их потомки. «У нас и говор московский». А шелонники — это новгородцы.

«Для постройки и избы, и амбарушки каждую лесину отбирали, чтобы была чистой и без всяких негодностей. Рубили и на островах, и на мшаринах, где дерево растет медленно, оно тяжельше и плотнее», — объяснял мне потомственный рыбак О. Двинин из Кузомени. Лещадь и известь возили на карбасах и па́возках с Двины, из самого Ступина да из Панилова. Там были и монастырские разработки известняков. Монастыри Соловецкий, Пертоминский, Никольский, Крестный, Михайловский, Сийский речными и морскими путями везли лещадь для своих строек. Стоят эти стройки и поныне. Лещадью были выложены стены Новодвинской крепости, а в архангельских Гостиных дворах — полы и стены всех помещений.

Все старые поморские строения отличаются не только соразмерностью архитектурных линий, законченностью, но и практичностью. В них нет ничего лишнего, но есть все необходимое для жизни в условиях Севера, для работы поморской семьи. К тому же они гармонично согласуются с особенностями окружающей природы. Поэтому каждое селение имеет свое лицо. Пурнема не повторяет Сюзьму, а Летняя Золотица — Золотицу Зимнюю, хотя все на золотых песках, но и море у берегов не так играет, и речки не так текут, да и леса иные. Раз побывав в Лопшеньге или Поньгоме, их уже не спутаешь ни с каким другим тоже поморским селением на высоком берегу. В то же время везде встречаются деревянные постройки, рубленные одними и теми же приемами, но особенности расположения строений, объединения их жилой части с хозяйственной, детали покрытия, крыльца, убранство — всюду какие-то «свои». Вспомнишь не раз поморскую поговорку: «В кажной избушке свои погремушки, в кажной избе свой погремок, в кажной деревне свой обиход, а везде все наше — поморско».

Объяснение этому может быть только одно — в каждом строении, в размещении их проявляется творчество, выдумка, индивидуальность создавших их мастеров.

Зоркий глаз, воспитанный морем, был у плотника-моряка, строителя морских лодий, павозков, карбасов. Его плотницкое мастерство, по сути дела, искусство — так была обработана каждая деталь постройки, нигде ни щели, ни застружины, ни занозины. Все косяки пригнаны — не оторвешь, в проем между стеной и обоконьем (рамой) иглы не воткнешь, водостоки спустят всю дождевую и талую воду с крыши, а ее свесы защитят стены от любой воды. Вот и стоит века деревянная постройка, ремонта ежегодного не требует и не покосится, будь то хоромина, амбар или баня. «В карбасу щелеватом в море не пойдешь, а в избе продувной ветром не заживешь» — поморская поговорка (Сорока). Вот и строили на совесть, на века.

В Беломорье дома обычно строили с высоким подклетом, на котором возводили жилое помещение. Это здание в один-два этажа, чаще всего заканчивающееся «по переду», то есть по фасаду, треугольным фронтоном

(«косоклинной стенкой»)*, покрытым двускатной крышей с большими свесами. На соединении скатов красовался конек. Жилые и хозяйственные строения объединяются крытыми переходами и удлиненным скатом крыши, стороны двускатной крыши при этом утрачивают симметрию. Встречается объединение и разноскатной крышей: двускатность крыши жилого помещения не нарушается, а хозяйственные помещения покрываются отдельной односкатной крышей. Во всех случаях крыши объединены общим коньком. Все хозяйственные помещения примыкают к озадку, то есть к тыльной стороне жилого помещения. Подклет, двор для скота, поветь над ним, клети на повети и кладовые на переходах возводили так же прочно, как и жилье. В Подвинье по внешнему виду старого строения сразу отличишь жилые помещения от облегченных строений двора и повети: там им меньше забот уделяется, природные условия все же иные.

Поветь — это одна из главных хозяйственных построек в Беломорье. «По двору да повети хозяйство-то судят». Она служила сеновалом, а кроме того, здесь хранились различные вещи промыслового, сельскохозяйственного и бытового назначения. С улицы в нее был особый въезд — наклонный настил тонких бревен на подпорах, по этому настилу-взвозу, заканчивающемуся площадкой перед воротами — входом на поветь, — на возах поднимали сено, солому, бочки, запасные доски. Сено в ясли хлева спускали по мере надобности через колодец. На повети отгораживали клеть для хранения различных хозяйственных вещей.

Поветь не украшалась, но строитель уделял большое внимание входу с наружной площадки — широким двустворчатым воротам. Они оформлялись простым выразительным порталом из тесаных плах. Форма этого портала часто повторялась в портале ворот двора, их было видно с повети.

Отдельно от жилых и хозяйственных построек ставили амбары и бани. В амбарах хранили зерно, промысловое оборудование. Стоят они «край реки либо моря» и на пригорках, и на угорах. Стоят и рядком, и в одиночку. В Летней Золотице когда-то их было в ряду де-

* Определение дано в Летней Золотице.

вять, на одном из них была вырезана дата — 1821 год.

Амбар обычно приподнят над землей на массивные ножки или камни, подложенные под углы. Стены его глухие, тоже массивные. У некоторых амбаров двойные двери — наружные сплошные и за ними внутренние решетчатые из строганых планок. Наличие внутренней двери позволяет хорошо проветривать амбар, если открыть дверь наружную. Небольшие размеры дверей хорошо оттеняют массивность всей постройки. Вход через высокий порог. Крыша двускатная, с большими свесами. Здание предохранено от почвенных и дождевых вод.

Изредка встречаются амбары, убранные причелинами с глухой резьбой, кистями и зубчатым нижним краем. Такой амбар видела в 1910 году в Сюзьме и несколько позднее в Лопшеньге. Амбары и без убранства запоминаются всем своим обликом — устойчивой массивностью, соразмерностью деталей, тщательностью всей постройки. Еще раз вспомнишь меткий глаз помора, создавшего архитектурный памятник.

Бани в Беломорье строили в одно помещение — мыльню с окошечком или в два — с добавкой предбанника. В некоторых банях еще двадцать лет назад для отопления сохранялась каменка — печь, сложенная из камней. На каменке калили дополнительные камни, которые затем опускали в деревянные ушаты с водой для ее нагрева. Банные ушаты были несколько выше и шире обычных. Лавки (скамьи) и полки́ в банях широкие, нашорканы голиком с дресвой. Стоки для воды в щели на полу. Привык помор, придя с промысла, попариться, поднаддав пару, плеснув на каменку воды, а то и кваску с мятой, веником похлестаться в этих жарких баньках. Многие поморы, и молодые, и пожилые, любят с жару «окупаться» в холодной воде речной или морской, а зимой в снегу поваляться. Говорят — «закалка».

Веники предпочитали березовые, но береза не везде встречается, пользовались и вениками ивовыми. Хранили веники на повети или под крышей бани. Запасали летом десятками.

Наружное убранство поморских жилых и хозяйственных построек сдержаннее, чем в Подвинье и Каргополье. Здесь, в северном суровом краю, убранство от этого не проигрывает, напротив, некоторая сдержанность позволяет более четко почувствовать и понять особенности поморского жилья, обихода и характера всего по-

селения в целом. Убранство состоит из дополнительных деталей, украшенных резьбой. В основном они традиционны для Севера, материалом для них служит дерево — строительный материал всей постройки. Традиционность убранства не ведет к копированию каких-либо образцов. Традиционен материал, приемы его использования и назначение деталей убранства, но исполнение деталей — это высокое искусство мастера, его понимание красоты. Понимание или, скорее, чувство, что к чему и как выразить это «что».

Наличники — наиболее распространенная форма убранства. Это украшение по наружной стене проемов окна и двери. Входные двери в беломорских домах обычно по проему в стене ограничены хорошо вытесанными плахами — толстыми досками, иногда они протесаны одной-двумя бороздками. Резьбы на таком оформлении двери видеть мне не приходилось. Оконные наличники встречаются главным образом на более ранних, прошлого века постройках, еще хорошо сохранившихся в старых поселениях. В северной части Онежского полуострова они изредка встречаются в Неноксе, Уне, Лопшеньге и Летней Золотице. По южным берегам полуострова и Онежского залива наличники встречаются несколько чаще, они отмечены в Пушлахте, Лямце, Пурнеме, Нижмозере, Тамице, Кянде, Ворзогорах, Малошуйке. По берегам Карелии сохранилось больше старых деревень, а в них больше древних зданий, убранных наличниками. Их еще можно было увидеть на домах в Вирьме, Сумпосаде, Поньгоме, Колгалакше, Керети. В старых крупных поселениях Порье, Умбе, Варзуге, Кузомени и Тетрине наружному убранству домов уделялось меньше внимания, условия жизни здесь были более суровы, поэтому труда на повседневный обиход затрачивалось больше, чем, например, в хозяйствах по берегам Онежского залива. Кроме того, мужское население этих берегов ежегодно надолго уходило и на Мурманскую страду на лов рыбы, и на Кедовский путь — на зверобойный промысел.

Встречаются наличники с резными сложными фигурными навершиями, как бы венчающими окно, и с полочками под низом окна, на которое упирается все его убранство. Иногда наличники связаны со ставнями, покрытыми глухой резьбой различной сложности. Пользуются ставнями редко, они — украшение стены дома.

Украшались дома Беломорья кронштейнами под нижней слегой крыши и выступами потоков, казалось бы, простые, мелкие детали, но они были резаны с большим пониманием значения завершающего штриха жилья.

Балконы встречаются редко, они укреплены на фронтоне, против двери или окна горенки.

Украшают дома и резные доски — причелины, крепившиеся по свесу крыши, они закрывают концы слег, на которые уложен тес крыши. Причелины заканчиваются резными кистями, а с конька крыши, между двух причелин, спускается резное полотенце. Под свесами крыши можно было увидеть резные доски и роспись.

Резьба на этих деталях была глухая и сквозная (ажурная). Узоры вдоль причелин идут поясками. Чаще встречается глухой геометрический узор, к нему добавляются глухие и сквозные круги, полукружия, овалы и перекрещенные линии. Край причелины резался выемками различной формы и зубчиками. «В зубок», — говорят в Уне. Резьба края напоминает кружево. Концы кистей прорезались в виде капель различной величины, зубцов и удлиненных треугольников, вершины которых или примыкали к основе кисти, или заканчивали ее. Все зависело от мастерства, художественного чутья и фантазии резчика.

Резали топором и ножом, зачищали — «гладили резьбу» теслом. Вот и весь набор инструментов творца деревянного кружева.

Войти в жилое помещение можно не только по крыльцу через сени, но и поветью через переход в сени. Крыльцо обычно пристроено к боковой стенке дома. Его устройству и убранству придавалось особое значение. Оно высокое, его площадка покоится на тесаных столбах, круглых или четырехгранных, над нею навес, опирающийся на фигурные столбики, марш иногда обнесен перильцами, столбиками, тоже фигурными, кувшинчиком. Все это — внимание к входящему в дом: еще не отворил двери в сени, а гость уже под хозяйской крышей.

Жилое помещение поморского дома-четырехстенки состоит из сеней, избы и горницы. Из сеней вход ведет в избу, она отделена перегородкой (заборкой) от горницы, занимающей площадь по фасаду дома. В некоторых домах из сеней есть еще вход в небольшую вторую гор-

ницу — «боковуху», или «повалушу». Окна ее прорезаны на боковой стене дома, следом за окнами избы. Пятистенки имеют две горницы по фасаду, а бывает, и еще одну боковую комнату рядом с избой, «шолнушу». В некоторых деревнях Беломорья горницей, или чаще горенкой, называют жилое помещение на вышке.

Внутренняя отделка и убранство жилых помещений зависели от хозяев, но повсюду соблюдались общие поморские традиции. Бревенчатые стены отесаны «в гладь», углы округлены. В горнице можно увидеть стены, обшитые до половины высоты тесаными дощечками, уложенными «в дорожку» или «в елку». Однажды встретила в Беломорске (Сороке) украшение простенка между двумя фасадными окнами дощечками, уложенными «в звезду». В 1914 году видела великолепное убранство внутренних стен церкви на Кондострове — дощечками, выложенными «в дорожку», а 1968 году — остатки внутренней обшивки в здании почты в Семже на Мезени.

Повседневная жизнь поморской семьи сосредоточивалась в том помещении жилища, которое издавна зовется «изба». Здесь собиралась вся семья для работы, трапезы, для бесед. Здесь спала та часть семьи, про которую говорили: «И стар и мал тепла хочет». Значительную часть площади избы занимала большая беленая печь, известная под названием «русская». Она стояла влево или вправо от входа, у стены, противоположной окнам бокового фасада. Складывали ее на особом прочном фундаменте, заложенном в подполе, или подклете. Печь была массивной и своеобразно красивой, с припечьем, большим зевом, закрываемым заслоном, с подпечкой и лежанкой. В каждом доме она отличалась какими-то своими деталями, в которых сказывался характер хозяина. Печи были кирпичные и глинобитные.

Низ печи, подпечье, часто обшивали в стойку тесаными дороженными дощечками, которые окрашивались в приглушенные коричневые или зеленые тона. В иных хозяйствах обшивка была разрисована. Любили поморки красками писать травы, розаны и цветики-глазки. В Беломорье много «шипишника» — шиповника, его цветки и есть розаны, а лютики — глазки.

Печь обслуживала многочисленные бытовые нужды семьи: обогревала все жилище, в ней пекли хлебушко,





пироги, рыбники, шаньги, варили щи и кашу, сушили сухари для промысловиков, сущик, ставили творог, парили белье, допаривали пойло для скота, на ее лежанке спали. «Ох, печь-матушка, обогрей-ко да накорми пришлого со страды», — говорили поморы-промысловики. А поморки точно и ясно определили значение печи: «Без печи-то не жить». Поэтому печникам-мастерам оказывали такой же почет, как пастухам, хранителям скота.

Обычно печь подходила близко к капитальной стене здания только своей задней стенкой. Пространство между боковой стенкой печи и перегородкой, отделяющей избу от горницы, называли заулком, там на полках хранили крупную кухонную посуду — чугуны, ладки, горшки, сковороды и ведра. Из заулка поднимались на поверхность печи — лежанку. На боковой стенке печи, первой от входа, выкладывались углубления — печуры, печурки, душники — для сушки рукавиц, чулок, носков. На обшивке этой стенки укрепляли полку-голбчик для сушки шапок, бузурунок и мелкой обуви. Верхнюю одежду и бахилы развешивали для сушки в сенях и в кладовухе, иногда и на повети, в стены для этого были вбиты деревянные костыли. У входа, обычно в углу у печи, был подвешен над тазом рукомойник, медный, с одним или двумя носками.

В переднем углу (его положение определялось положением печи: если она влево от входа, передний угол под окнами справа, и наоборот) вдоль его стен стояли лавки — широкие скамьи, иногда украшенные резными подзорами. Перед лавками стоял стол на массивных ножках-тумбах, обычно с резными поясками. Столешница толщиной в 2-3 пальца, стол легко не сдвинешь. На стенах полки и поставцы с посудой. Почти во всех хозяйствах можно было увидеть расставленную в поставцах для украшения — ею не пользовались — прекрасную соловецкую глиняную посуду: блюда, тарелки; на полках миски, кружки, кувшины. Близ Летней Золотицы когда-то был карьер Соловецкого монастыря. Соловецкая посуда из глины этого карьера славилась тонкостью стенки, красотой форм, тщательностью отделки, рельефными украшениями, глубоким коричневым тоном и великолепным обжигом. Тонкий черепок звенел, как хрусталь, и на изломе искрился. За этой посудой специально ходили на Соловки не только из Онежского залива, но и с Двины, Мезени, Печоры и Мурмана.

Встречалась в поставцах и «корабельная» посуда — привозная, еще на парусниках доставленная, потому и «корабельная». Это обычно голландский и английский фаянс. На рисунках дамы в фижмах, кавалеры в шляпах с перьями, прогуливающиеся в садах.

От фасадной стены до печи избы шла широкая полка, особенно часто встречалась она в избах по Летнему, Онежскому и Поморскому берегам, называли ее воронец, а в иных деревнях голубец. На ней стояла посуда красной и желтой меди: братины, чаши, ендовы, начищенные до солнечного блеска хлебной закваской с давленой клюквой. На каждой посудине клеймо Выгорецкого старообрядческого общежительства. Посуда эта употреблялась редко. К большим праздникам ставили рощу, варили домашнее черное солодовое пиво, вот только это пиво, а не брагу, и наливали в братину. Была и оловянная посуда — замечательные изделия Соловецкого монастыря — стаканы, чаши, миски, тарелки и блюдья. В монастыре их ставили на столы для трапезы. Приобрести такую посуду было трудно, вырабатывали ее мало — разве что настоятель одарит богомольца, не поскупившегося на вклад.

Почти в каждом хозяйстве были предметы повседневного обихода, изготовленные на месте либо самими хозяевами, либо местным умельцем. Это резаные и точеные деревянные чаши, миски, ночевки, корытца, ложки, собранные из клепки квашенки, бочонки, ушаты различных размеров и назначений. Эту посуду, за исключением ложек, ни резьбой, ни рисунком обычно не украшали.

Богато были украшены рубеля для катки на валках выстиранной одежды, полотенец, скатертей, различных подстилок и накрывашек, украшались прялки, ткацкие станы — кросна. Тут были и резьба, и рисунок. Как-то я видел в Семже самопрялку: каждая спица ее колеса была резной, мелкие детали следовали в определенной последовательности, спицы точно повторяли одна другую по форме, резьбе и росписи. А было их тридцать две, «как насечек на «матке» (на компасе), объяснила мне владелица. И тут — море отозвалось. Обод колеса был расписан «в полосу». Эту прялку сделал дед хозяйки, которой в 1966 году было 76 лет. Резал он прялку топором и ножом. Донца и лопатки прялки были расписаны, верх лопатки резной. Но самое удивительное — это

чудесное веретено, точеное, с росписью. Веретено — часть важнейшая для каждой прялки, а этнографы, описывая их, часто забывают даже упомянуть о веретене. Сколько опыта, труда вложено в каждое! «Пяток донцев да лопаток дед изготовит, а веретенцо и одно иной раз за это время не успеет», — рассказывала А. Е. Маслова из Семжи. Веретено на волос не должно отклониться от отвеса. Какой расчет, какой глаз должен быть у веретенщика! Без веретена и прялка не прялка. Славились веретенщики Мезени, Онеги и Пурнемы; заказывали веретена и на Каргопольщину в Лядины и в Лекшму. В приданое невесте давали веретено — бабки, а то и прабабки память.

Домашнего изготовления из дерева были грабли, лопаты, топорища, дуги. И на этих обыденных предметах встречается убранство: резьба в виде пояска или бусины — на конце ручек грабель и лопаты, роспись — на дугах. Из луба изготовляли лукошки, хлебницы; из бересты плели знаменитые туеса, солоницы, коробья, пестери и тухтыри. Для изготовления хозяйственных предметов из луба и бересты не употребляли гвоздей, части их соединяли, врезая одну в другую. Много посуды делали из глины, в ней варили пищу.

Хозяйственная обиходная утварь распределялась, в зависимости от назначения ее, по полкам, поставцам и шкафчикам в избе, в кладовухах и в клети на повети.

Горница, отделенная от избы перегородкой и выходящая окнами на фасад, обряжена была по-иному. Это была так называемая чистая половина.

У боковой стены горницы стояла кровать, накрытая «покрывальем» с подзором, в изголовье ее возвышались подушки, три-четыре-пять, одна на другой. У второй боковой стены стоял комод с выдвижными ящиками, гордость хозяйки и надежда невест — дадут ли в приданое. По передней стене, между окон, поставец либо горка — шкафчик с застекленными дверцами, в ней нарядная посуда и памятные безделки, в нижней части — книги. Посередине горницы стол, вокруг табуреты, а позднее стулья. В переднем углу икона, родительское благословение на семейную жизнь, по ее бокам венчальные свечи хозяев. На стенах много фотографий родственников, прежде фотографы ходили по деревням. Все фотографии в рамках, часто в одну собрано не-

сколько различных снимков. На подоконниках цветы: герань, фуксия, бальзамин, лимонное деревце. На окнах — завески.

В горнице иногда работали женщины, они шили, вязали, вышивали, но «не пылили», то есть не пряли и не ткали. Мужчины в горнице не работали.

Застолье в горнице ставили только в семейные праздники — гостины, в большие общие праздники и «в престол». Пол застилали домоткаными половиками.

Много и хорошо ткали раньше в Поморье из шерсти и льна. Шерсть была от своих овец, а льняное прядено привозили из Архангельска, Онеги и Вологды. Из шерсти ткали «покрывалья» на кровати и сундуки, «окутку» — толстые одеяла, портянки, половики, юбки, а из льна — холсты для различных надобностей. Узор на шерстяном тканье был обычно в поперечную, по ширине ткани, цветную полосу, а на льняном либо одноцветный плоский, либо рельефный — более толстой нитью, либо в цветную мелкую клетку. Но чаще холсты были без узоров, гладкие. По весне холсты белили, расстилали на снегу под весеннее солнышко, белили и летом на траве, обильно поливая их. Девушки пели:

Расстилала я холсты, их я ткала долгу зиму,
Ты белись, холстиночка, на снегах, на белыих,
Ты белись, холстиночка, и на травушке зеленой,
Отбелю я ту холстинку, укладу всё в короба.

Приданое невесты укладывалось в короба.

Поморки отлично вязали на спицах. Без шерстяных вязаных бузурунок, носков, чулок и рукавиц рыбаки не могли идти на промысел — холода. Все вещи вязали из некрашеной толстой нити, втугую, чулки-поголенки — с двойной пяткой и подошвой, они часто заменяли домашнюю обувь. «Вяжешь втугую — пальцы обломаешь, зато рубаха — шуба, ветра не пропустит». Хорошо вязали в Зимней Золотице, в Неноксе и на Мезени. Вещи, связанные в этих местах, славились узорами и качеством шерсти. Рукавички для детей и женщин вязали из мягкой шерсти яритинки — это шерсть молодой овцы или ягненка. Все вещи вывязывались с рисунком чаще из неокрашенной коричневой шерсти, но были рисунки, и простые, и сложные, и из пестрой окрашенной нити. «Нашенские узоры и стародавни, и свои». На рубахах рисунок вывязывался на груди, на носках и на чул-

ках — на голяшках, а рукавицы — сплошной рисунок. На изделиях часто повторялся рисунок звезд, они или были рассеяны по поверхности вещи, или чередовались с геометрическим орнаментом, или объединялись в сложные композиции. На мой вопрос, почему вязальщицы любят этот рисунок, был дан ответ: «А в мори-то промышленники издавна в пути по звездам идут». Да, путеводная звезда в море — все ясно. Открываются глубокие давние связи человека и природы, пути познания окружающего мира. И здесь все связано с морем.

Другие виды женских рукоделий — вышивка, кружевное вязанье были, сравнительно, например, с Каргопольем или Пинегой, менее распространены. Они встречались в основном в деревнях на южном побережье Онежского залива. Вышивали крестом и вгладь рукава женских рубашек и передники. Многие поморки занимались очень сложным рукоделием — шитьем жемчугом.

В наши дни ручные изделия заменяются фабричными, не исчезает и молодо только вязание из шерсти; фабричные вязанки и рукавички покупают для наряда женщинам да детям, на промысле они не послужат. «Баски, да не пригодливы, в кажну петлю ветер просвистит».

Выхаживались друг перед другом поморки в уходе за своим хозяйством, убирали и холили жилье. Полы, столешницы, полки и скамьи в избе и бане шоркали голиком с дресвой. Теперь же все покрашено и только в баньках с каменками есть еще место для голика и дресвы.

В каждом хозяйстве были свои отличительные детали устройства и распорядка быта, общий же его настрой был характерен для каждой отдельной деревни в целом. Но у каждой деревни в быту были свои особенности. В Сюзьме пели:

Не ходите, девки, замуж в Нёноксу,
Нёнокшан полюбите — нёнокшанки будете,
Там порядок уж не наш.

Нёнокшанки не оставались в долгу и частили:

Нёнокшанки девки гордые,
Не деревня мы, а посадские,
Мы в деревню замуж не пойдем,
Там Епишки да Мишки,
А у нас Петруши да Ванюши.

Но роднилась молодежь по разным деревням — любовь, а то и хозяйственные соображения. Звучало серьезнее услышанное в Семже по адресу не только Неноксы, но и всего населения западного Беломорья: «Нам шелонники не ровня, мы Москвы уголок». Тут историческая память, стойкая: Москва и Новгород, отголоски их отношений друг к другу.

Особый порядок труда и быта в Беломорье складывался веками в условиях суровой природы, тяжелого труда на море, труда на свой страх и риск и на совесть.

В Подвинье и на Печоре тоже свои, иные, порядки и обычаи.

Поморская семья — своеобразный мир, отличала его взаимная уважительность всех ее членов. Раньше Дашек да Палашек здесь не встретишь, малыши Дарьюшки да Полюшки, девушки Дашеньки да Пелагеюшки, а вышли замуж — уже и по батюшке величают. Отца величали батюшкой, мать — мамушкой, а крёсную — матушкой. У всех членов семьи был ярко выражен общий семейный интерес к делу. «Работаем на строительстве дома ли, судна, на промысле — все семьей». До тех пор, пока не разлетались из гнезда дочери и сыновья, всем заправляли отец и мать на равных. Только мать не касалась корабельных дел. Все подчинялись отцу-матери без прекословия, уважительно относились ко всем старшим родичам, особенно к крёсным. Старшие «ставили на ноги» потомство заботливо, бывало, и с суровой учебой, «с выволочкой», по старинке, но не со зла. Тот, которого учили, это понимал. «Без спуску отцы учили, но по делу», — говорил Л. Гуляев. У него была большая дружная семья, порядок в личном хозяйстве и на рабочем участке. «С малолетства приучены, шесть лет исполнилось — помогай отцу, он учил конопляное прядено скать, сеть вязать. Не шутя каждодневный урок отец дает, сполнил, там и на улку бежать забавляться можно. Сестер мать и бабка учили перво-наперво вязать, шерсть трепать на цапахах, заплатки разные класть, это одёжу чинить. Девки с пяти лет маленьких нянчили. У всех поморов порядок такой. А не так—это у непутевого какого».

А. Е. Маслова из Семжи рассказывала: «Замуж выдавали — в сундуки, в коробья сорок платьев было укладено (десять из них впоследствии Исторический му-

зей приобрел), сарафанов да кофт ситцевых не считано, другого лапотья на весь век». «Кто же это вам запасал?» — спросила я. «Мать и отец определили: у шести братьёв чтоб единственная сестра-невеста была бесприданницей — по всей Мезени-реке позор бы был. И отец с мамушкой не хвалили бы. Братья-то все в Экипаже* службу несли, красивы и ростом вышли, в плаваньях дальних бывали, с подарками домой возвращались. Батюшко их всему положенному научил».

И еше один примечательный рассказ с Мезени, характеризующий поморскую семью.

«Мамушка моя батюшки мало моложе была, ну и в последни годы жизни он и завел на стороне вдовую милушку помоложе. Находом к ней ходил. Мамушку словом не обидел, и она смолчала, поняла. Как через пять годов батюшко кончился, погребали его пóчестно, народ приходил проститься и проводить, уважали его. Милушка тоже пришла, и в церкви стояла, и на погосте с другими голосила. Мамушка не глянула на нее и слова ей не сказала. Братья мои, сыновья отцовы, тоже запрету не ставили, коль мать не велит. К домовине не пропустили, смекнули сами.

Дома столованье поминальное. Сели все. Милушка не сообразила, тоже за стол с краю села. Мамушка опять слова ей не сказала, но степенно так встала да милушку вежливенько так за рукав взяла, руки ейной не задела, да и за дверь вывела и дверь прикрыла. Отца покойного при детях да при народе не осудила, но ей, милушке, с другами-товарищами отцовыми помянуть его не дозволила. Тем дело и кончилось. Никто слова не сказал. Поминанье по всему чину прошло. В девятый и в сороковины тоже поминали».

Но бывало в семьях и по-иному. Вот что рассказывала мне керетчанка.

«Веснованье в этом году было несхожее. Хозяин с промыслу пришел, а я стретить его на берегу не успела, печь затопить припоздала и стряпню боялась поломать, жди тогда нехорошего, примета стародавняя есть. А и без того дождалась. Вошел он в избу темный такой. Я к ему, как промышляли? А он как торнул меня, я о печь и убилась, а поднялась сразу. Девки, старшой пять годков было, меньшой три, скоре в сени. А хозяин

* Гвардейская морская служба.

стал промыслову одежу в избы скидывать да бросать. А мне — «что стала, сымай бахилы». Ране завсегда сам все в сенях сымал. Чую, виновата, все жонки своих встретили. На колена склонилась, тяну за пяту, а он-то другой бахилой все норовит меня по ногам вдарить, синяков наставил. Не я одна в синяках хаживала. Да. В нашей-то семьи редко бывало. Жонки синяками не хвастали, ребятам своим не казали. Разве кака жонка из плохой семьи не из нашей деревни взята, несамостоятельная какая, на людях о своих делах с хозяином повеньгает. Ее другие жонки и осудят, а то и на глум возьмут. Женино дело — свое дело, в него другие не суйся».

В 1913 году побывала я на Терском берегу, и в Тетрино молодая хозяйка, у которой я заночевала, рассказывала мне о своей семейной жизни:

«Сватался ко мне мужик мой, нежну негушку обещался. А женился —как выпьет, так норовит колотить-молотить. Да я не робка, сама поморка, не стерплю. На время где укроюсь в доме, как затихать станет вскорости, вытолкаю на поветь, место есть, подголовье, шуба овчинная, спи там. Наутро запущу в избу, он спрашивает: «Чего это я на холоду на повети спал?» А я ему: «Будешь галить — и в хлеву поспишь. Чего не бывает, хорошо живем, по любви венчались». Он лишь усмехается: «Я это так», — говорит. «Будет не так».

В 1948 году направлялась я из Онеги в Пурнему, не бывала еще в этой старинной деревне, а слыхала о ней много. На катере были еще три пассажира и две пассажирки: пожилая, худенькая, бледная, задумчивая, в черном платке, в ватнике, и молодая, крепкая, в плюшевой жакетке, голова повязана платком шерстяным белым, угол с ярким рисунком. Мы трое устроились на брезенте, брошенном на дно катера. Молодая быстро освоилась, посмеялась и с пассажирами, и с мотористом и осведомилась у пожилой поморки и у меня — кто такие, откуда, куда едем, зачем, по каким делам, к кому. Пожилая поморка назвалась Марьей Яковлевной. Между ними завязался разговор. Молодая спросила с легкой насмешкой:

— К кому идешь, жить где будешь?

— В Пурнему иду, пурнемская была, везде примут.

— Дела у тебя, что ль, в Пурнеме? Слабая ты, сидела бы дома.

— Родительскую деревню иду навестить.

— Хозяйство свое на кого оставила?

— Нету хозяйства. Война обездолила, сыны не вернулись, трое выращены были, трое еще на погост ране снесены, мужик на Мурманке помер.

— На свободе ходишь за тридевять земель. Ране как жила, плохо, видно, бездомная?

— Не скажи, хорошо жила и живу. Отдала хозяйство невестке старшей, ребят у ей много, у ей и живу. Жизнь у каждой жонки нелегка. Обрядись, скотину обиходь, за ребятами усмотри, огород тоже, сенокос, ягод-грибов напаси, пряди да тки. Хозяина уважь, чтобы сыт был, прибран, обихожен, лаской не обижен. А когда ребята балуются, хозяин на тебя крикнет. Обидно. После подумаешь: ребятки малые, он один добытчик, а в семье, бывало, и сам-семь, на море трудно, опасно. Не со зла он, от тяготы жизненной. Вот и смолчишь, а постарше и он перестал задориться. Ребята отбаловались. Хорошо жили, ребята хорошие, невестки тоже. Прахом ушло все.

Да, ушло прахом, от сердца оторвано, а жалоб нет. «Хорошо жила и живу». Не «нежна негушка» была у нее, а жизнь суровая, труд без отдыха, и всегда «на себя надея».

— Все пережила, чего глядеть пошла в Пурнему?

— Шатер да мосток.

— Какой шатер, еще и мосток, к чему тебе?

— Был в Пурнеме ряжевщик, давно, а вспоминают и ныне. Рубил в ряж он шатер церковной Никольской. Кажно бревно сам отбирал и клал в шатер с помощниками. Кончили рубить, покрыли его тесинами. Кончили строиться во всем, церкву святили. Он взошел на амвон, на колена пал, сколько бревен в ряж поклал, столько число поклонов в землю положил. Благодаренье говорил, что сил хватило, старый уж был. Батюшко ему тоже на амвоне поклон земной отдал. В церквы все стояли, не уходили».

— Мосток-то к чему тебе?

— Мосток ряжевой через овраг. Бывало, песни там пели на гуляньи. Погляжу стародавнее свое.

На катере все молчали. Потом притихшая молодуха сказала: «Тихая ты, не жалишься, а как сказываешь, до души».

Как я понимаю, Марию Яковлевну влекла Пурнема

не только потому, что здесь прошли ее детские и девичьи годы, но влекли ее еще и воспоминания о той красоте, с которой повстречалась в родной деревне в прошлом. Воспоминания не изгладились, несмотря на все тяготы и невзгоды в ее долгой жизни. Поэтому стоит сказать несколько слов об этой красоте.

Строгая Никольская церковь с 1618 года стоит в Пурнеме за околицей деревни, на излучине реки Пурнемы, у берега; силуэт ее шатра отражается в водах, виден он издали и с моря, и с реки, и со всех сухопутных дорог к деревне. Точный выбор места для нее, четкость линий здания, суровое изящество всех его форм, свет и тень на деталях, мастерство выполнения — вот что такое это архитектурное, навсегда запомнившееся волшебство, которому уже исполнилось без малого четыре века. Это красота без украшательства. Создали ее задумка, руки, зоркий глаз помора-рыбака, топор, пила, тесло да оборотенка. Вот почему и передается более трехсот лет рассказ о пурнемском ряжевщике.

Мост через овраг в Пурнеме тоже примечательный, он на ряжевом срубе. Сохранят ли это чудо, которому тоже надо справлять, наверное, трехсотлетие?..

Взглянуть еще раз на Никольскую и на мосток, попрощаться с ними приходят в конце своей жизни «пурнемские стародавние», которые считают: «Это наши места, красивше нет».

В 1958 году встретилась я еще с одной пурнемской жительницей, было ей 79 лет. Направлялась она из Шойны, где нянчила правнуков. Путь был нелегкий. Добралась она до Архангельска с семьей внучки, у которой жила в Шойне, дальше, до Жижгина, прихватили ее попутчики, шли на боте (денег на билет, чтобы добраться на пароходе, у нее не было). На Жижгине находилась в это время наша экспедиция, мы должны были идти на дори к Анзерскому острову. Она и обратилась ко мне, «чтобы выпроситься доставить, коли не в Пурнему, то хоть на Соловки». Высадили мы ее на побережье губы Долгой Соловецкой, а дальше поморка пешком добралась до гавани Благополучия, это расстояние около 4 километров. Там взяли ее на пароход без билета, добралась она до Пушлахты, дальше с попутчиками до Лямцы, «а там, почитай, уж и дома, в Пурнеме, дорога хорошая» (25 километров!). Наслушалась я ее рассказов о житье-бытье поморском. Шла она в Пурнему еще

разок на верхи Никольские взглянуть, «а там и помереть можно, на родной земле буду». Ходили «стародавние» и в родную Неноксу, на Сумпосад, в Варзугу еще разочек взглянуть на места, которых «красивше нет». Да, характеры их жизнь закалила, старшие родичи в детстве примером были. И не иссякает в народе стремление к красоте истинной.

Женщины и девушки Беломорья в решении хозяйственных и бытовых дел были самостоятельнее, чем женщины в других районах дореволюционной России. Они во многом помогали «мужикам» в их опасном труде на море, а в периоды длительных отлучек мужчин на промыслы — на Мурманскую страду, на Кедовский путь, в плавания в Норвегию — они оставались правительницами всего хозяйства и главой семьи. Поморки знали, испытали, «что хозяйкой дом держится». Хозяин — он добытчик на всю семью, не легок его труд, а в повседневных хозяйственных и семейных делах он полагался на хозяйку. Девушки-невесты уже с малолетства усваивают — «без хозяйки дом сирота», а подрастая, убеждаются — «без семьи у мужика не жизнь, а одно баловство». К тому же неизбежный в условиях Беломорья распорядок труда и быта, еще более суровый, чем у крестьянок северных междуречий, приучал ее к самостоятельности, а многие виды работы, подчас наравне с мужчиной, — к значительной независимости.

...Было это в Вирьме, старинной деревне, выросшей в конце XV века на берегу Онежского залива. В ненастный штормовой день все старшие собрались в избе, пригласили и меня на беседу. Разговор зашел о семейной жизни поморов. Суждения мои о большой самостоятельности поморки в семье и хозяйстве подтвердила бабушка Анисья Яковлевна: «Помор на море хозяин, ему не перечь, а поморка во дому и в детях на равных, а иной раз она над им верх берет, больше эти дела знает; слово каждого, мужа и жены, — слово хозяйское. Она в дому большуха, так у нас хозяйка зовется».

В беседу вступила еще одна женщина, было ей за сорок лет, красивая, времени не теряла, проворно вывязывала носок-поголенок. Любовалась ею. «Так положено для всякой жонки у нас в Поморье. Ребят я мужу народила, парней четверо и две девки, и хозяйство не порушила. А спервоначалу и неладное было. Первой бы-

ла у меня дочерь, а муж ждал сына. Но ничего. Одарил головным цветным платком. И вторая — девка. Ничем не одарил. Девок не обижал, разве когда «волосянку» даст да крикнет, но на руки не брал. Жалела я девок своих. Как понесла я третьего, так он мне обмолвился: «Ну смотри». Я и к бабушке за наговором ходила, и свечи ставила, и обещалась. Пришел он как-то с неудачей, и толконул меня разок, а я и скажи: «Сына-то изувечишь». Он точно спужался, я того пуще. Живу в беспокойстве, травку богородичну пью, это к парню, на Соловки заказывала, там растет. Парня и родила, хорошего. Муж в Норвегу ходил, привез канифасу на сарафан, плат шалевый и платок цветастый и девкам гостинцы. А там еще трое. Всех вырастили, младшенькому десять годков. Отец ко всему сынов с малых годов приучает. Дочери замужем, хозяйки. Хорошо живем, семейно».

Не знаю, как обошлась с этой семьей война.

Со многими поморками повстречалась я в жизни. По праву величают хозяйку — большуха. Прежде всего она природная семьянинка: гордится большой семьей, заботится о ней, поучает ее; она хозяйственна, уверена в себе, знает себе цену, смелая, держится и в молодые годы с достоинством, а станет старше — это уже степенная, знающая цену труду, умудренная жизнью женщина. Она «не жалится» при всех своих многочисленных трудах, делах и заботах, тревогах и печалях. Она любит и поговорить, и шутку сказать, и песню спеть, и поспорить, а порой и отругать кого следует за дело, может и с соседкой переругнуться, так, без злобы, и безотчетное у нее чувство красоты, которое сказывается в убранстве дома и в ее наряде, и в ее характере. На прощание сказано было в Вирьме: «Поморка семью и труд в хозяйстве наперед всего ставит», — такое заключение сделала Анисья Яковлевна.

Уже в начале нашего века намечались изменения стародавних порядков в поморской семье. При этом сохранялась старая как бы заповедь: у всех семья — основа жизни. Молодежь стремилась выйти из-под непререкаемой опеки старших, стремилась, но с согласия и с помощью родителей, создавать свою семью, не разрывая связей ни с ними, ни с многочисленными родичами. Поморы родство помнят и уважают чуть ли не до седьмого колена.

Чаще всего именно молодая невестка не мирилась с порядками новой семьи. Члены же ее тогда приглядывались к молодухе и все ей «в счет ставили». Это бывало обычно в том случае, когда молодой хозяин выбирал себе жену против воли родителей. И станет свекор-батюшко журить-бранить, а свекровушка началовать-указывать, золовки-перестарки глаз косят и зло таят. Все это не обещало молодым счастья. Невеселую коротушку сложила молодуха, обманувшаяся в своих мечтах и надеждах, но не решившаяся еще на протест.

Песни с милым пели про любовь,
А любви и не узнали.
Свекровуха да золовки
Жить в любви нам помешали.

Родители молодухи на помощь ей не приходили, она уже ушла из родительского дома, у нее теперь новая семья. «Ты теперича мужняя жена, в еговой семье живешь, тех порядков и держись. Семейное дело — твое дело». Молодуха и терпела.

Если же молодуха не подчинялась порядкам новой семьи — столкновения, упреки, споры были неизбежны, но разводов поморская семья не знала.

Распевали молодухи строптивые:

Меня свекровка укоряла,
Не приветлива ты, непорядливая,
А по мне, урчи-ворчи,
Я милому мужу ненаглядная.

А свекру-батюшке заявляли:

Станет свекор-батюшко
Плеточкой грозить,
Муж милой мой
Своей спинкой защитит.

Мать, бабушка, матушка наставляли молодуху: «Больно востра, муж по первости любит-милует, а смотри, за непорядливость да за непривет и разлюбит, научит. Они, мужики, требуют: за мужицкую тяжелую работу обеспечь их женским делом по хозяйству да приголубь. Свекор верно тому учит. Не вертись, нашу семью не срами, вертеха». Старые поморки не одобряли таких молодух. В Яреньге в семье Майзеровых слыхала об этом. «Задни-то колеса ноне передни обогнать хотят».

Все же девушки-поморки сами искали свое счастье, свою дорогу:

Меня мамушка корила,
Что я замуж не иду,
Не пойду за немилого,
У меня своя зазноба есть.
Он посватает, пойду.

Раздоры в семье между родителями и невесткой в большинстве случаев решались мирно — тебе жить, а мы добра желаем.

Иногда взаимоотношения в поморской семье обострялись между старым ядром ее и новым членом — приймаком. Приймачество в Беломорье встречалось редко. Приймак, как обычно менее обеспеченный, шел в дом тестя и тещи и этим ставил себя в известную зависимость от них. Он «принят в дом» за отсутствием сыновей, и не только как муж дочери, но и как работник. Благодарность — самостоятельность хозяина — он получит после их смерти.

Молодые парни, которых хочешь не хочешь ждало приймачество, распевали:

Не ходите, парни, в примаки во суседи,
Я у тешши жил полгода
На богатой пишше,
Утром чай, в обед чаек,
А на ужину чаишко.
И трудись ты весь денек,
А живи как серенький котишко.

«Скупяшша тешша была, глядит, чтоб шшипка лишнего кто не съел. Богата, лапотья много, а дочь, жена моя, хорошего наряда не имеет».

«Ты муж, а дочь материнская теперь мужня жена, ты и наживай и наряжай свою жонку».

Вот и весь тещин сказ.

Морем живем, им кормимся, говорили поморы. На Мурманскую страду — за рыбой, на зверобойный промысел — к залежкам зверя уходили поморы не на один месяц в Мезенский залив, в Горло, на Кедовский путь, на Матку. Шли артелью, ватагой.

О многом должен был позаботиться помор, отправляясь на промысел, все необходимое каждый брал «со своего места». Много было забот и у поморок, снаряжавших отцов, мужей, сыновей харчем и справой на такой длительный срок, в места дальние, отлёглые. Кроме «хлебного» — муки, хлеба, сухарей, толокна, крупы, готовили особые продукты, пригодные к длительному

хранению. Топленое масло заливали в туеса, морошку и толченую бруснику засыпали в бочата; укладывали связками особо обработанную треску-пластун, рунтовку и лабордан. Соль для повседневного обихода засыпали в тухтыри. Готовили особые мешки для хлеба, калачей и сухарей. Хлебное на судне и на стане хранили «на ветри», его продувало, оно не бусело, то есть не плесневело. Миски, ложки заготовляли с запасом, на промысле не восстановишь поломанное или утраченное. Наконец вся справа к отходу вычищена, отстирана, починена. Дрова наготовлены, глинка заложена в ящики, она была необходима для устройства на льду помоста под костер.

Впереди проводы, к ним тоже готовились. Уходящие на страду и остающиеся семьи знали все тяготы и опасности промысла, поэтому провожали, как рассказывали мне в Чапоме, почестно. Там была записана отвальная коротушка:

На страдный весновальный
Без гуляночки отвальной
Нам не положено идти,
Отгуляем дома до обратного пути.

В Керети тоже слышала отвальную коротушку. Ее пропел по моей просьбе промысловик, уже много лет на страду не выходивший. Он любил вспоминать далекое для него время молодости, полной сил и отваги, артельной работы, морских тягот, в воспоминаниях ставших такими притягательными.

Жизни нашей краше нет,
Как хочу, теперь гуляю,
На страду Мурманскую пойду,
Дома все гуляночки оставлю.

«Кабыть так пели», — сказал он, довольный тем, что помнит все слова песенки.

В Беломорье широко гуляли не только перед тем, как шли на промысел, но еще шире при возвращении с удачей. Справляли привальное. «Ходят друг к дружке на винну чарку. Выпьют, зачнут силой меряться, сперва на кулачки, а опосля и задерутся взаболь. Бывало, мы, жонки, водой их разливали, иной управы не найдешь».

Гуляли, но сроки выхода на промысел выдерживали, и сборы были не наспех. Всегда помнили, какие тяготы ждут на промысле. «На рыбу шли, яруса ставили,

воду вылеживали*. Ветра беспокоят, волна, а ты терпи, выжидай рыбку-то». Трудно давалась рыбка. Вернется рыбак с моря на стан, обычно в погоду, когда лов невозможен, а у артели есть избушка-сараюшка, в ней теснота, духота, дымно, темно, только жирник горит. Все же можно согреться, кое-как обсушиться у камелька; ухи горячей похлебать удастся, рассказов послушать, иногда и выспаться — дощатая койка есть.

Труден был мурманский промысел, и труден вдвойне, когда помор шел не в артели односельчан, не на стародавних артельных началах, промышлял не на свой обиход, а нанимался к поморам-судовладельцам в работники-покрученники; такой помор шел не за прибылью, не за радостью, а от бездольица, от нужды горькой: не мог внести артельный пай. К тому же и задолжал он богатею-судовладельцу, надо расплачиваться трудом, отрабатывать долги. Жизнь покрученников вдали от дома в течение многих месяцев была самой настоящей кабалой. Изнурительный труд на хозяина, не обеспечивавшего даже примитивных условий жилья и питания, — вот что ожидало его. Пошел на покрут — в одну путину две жизни положил. Рассказывали в Поньгоме жены покрученников: «Осенесь пришли с мурманской страды, выжились там вовсе, худяшши, вызудило, выветрило их, руки-ноги тоснут. Как на здоровье поставишь, а покрут-то опять ждет». Бесконечной была кабала, не рассчитаться с хозяином, долги опутывали помора-покрученника.

На зверобойном промысле работ и тягот еще больше. Нерпу били, утельгу (молодую самку) да белька норовили захватить, повадки их знали. Весь зверобойный период промысловики оставались на льду, жили в карбасах или под ними, укрывались буйном. Холод, сырость. «Вызябнешь, огонь не чуешь». Да и не жарко палили костерок, дрова берегли. Что-то еще впереди ждет. Сухомес поперек горла становился, к концу промысла горячую пищу варить было уже не из чего, все приели. «Зверя норовили бить, как прижим зачнется. Не зáвсе это бывало, отдерет льды и понесет в голомя. Бывало, настрадаются, а то и не возвернутся».

---

* Вылеживать — ждать воду, с которой подойдет рыба.





Трудно на море, но оно кормило. Выходили по открытой воде на промысел тресочки, которой «ежели солоненькой не поешь, на работе не потянешь», промышляли сельдь, сигов-заледок, навагу, семгу, ну а мелочь — та не в счет. Каждую рыбу ловили в свое, ей положенное время в районах ее подхода. Учитывали все это поморы, знатоки промысловых дел. Лучшую рыбу промышляли на Мурмане. Это крупная треска, палтус, зубатка. «За ними и страдаем», — сказал старый рыбак И. Дорофеев из Чуболы. Для сала и кожи промышляли белуху. «На Кандалухи губы ходили одна по другу караваном, сельдь их приманивала». Ловили белуху и в Онежском заливе, это почти дома.

Труд на море требовал от каждого помора не только физической силы, выносливости, закалки, сноровки, но и отличного знания морского дела, морского пути, навыков в промысле рыбы и зверя. И все это помор освоил. Еще далеко было до рождения формулы «человек и биосфера», а те, кто осваивал Беломорье, с первых шагов испытали на себе ее силу, на протяжении столетий, на опыте постигали ее тайны. Еще не ведая ни о какой экологии, которая в наше время признается одной из важнейших для прогресса ветвью биологической науки, поморы копили наблюдения за окружающим их миром, учитывали связи явлений и их взаимодействие и создали свою формулу: у моря и земли все в один узел связано, развязать не развяжешь, а не зевай, встревай, отличай, да и отвечай. Это как-то в беседе о поморских делах, о поморском житье-бытье сказал давний мой знакомый Алексей Михайлович Митькин, побывавший на всех морях Северного Ледовитого океана. Он работал и на лове рыбы, и гарпунером, и зверобоем, и наблюдателем на научных станциях. Научные экспедиции заманивали его в помощники.

Ни стужа, ни ветры, ни дальние пути не пугали помора. Познал он все повадки моря, своего кормильца. Опыт дедов, отцов и свой, воспринятый с малолетства, помогали ему на трудных путях-дорогах держаться «óпасно», осторожно, с опаской. Но в одиночку труд на море невозможен, поморы шли на промысел «обществом», и каждый друг другу был помощником, необходимость единства была подсказана и воспитана веками. «Как зачнет кто в артели на промысле идти на отличку, так по общему приговору лямками постегаем. Редко

бывало, а бывало, иначе нельзя на таком деле». Общий труд определял сплоченность поморской семьи и деревенского коллектива, отсюда и забота о товарище: «...удачи тебе на все четыре ветра и все их подветерья». Отсюда и старинное обещание — клятва кормщика, главного на промысловом судне, руководителя промысла, отвечать за успех плавания, за всех идущих с ним. Он давал клятву отвечать «перед совестью своей, перед людьми, да на Страшном суде, коли погибнет кто». Отсюда и требования к кормщику: «должон он душу крепкую иметь, да и руку тоже».

Поморы ходили на промыслы не только в Белое и Баренцево моря, уже в XVI веке шли они на запад за Кенрог и Нордкап, шли до Шпицбергена, ходили на Матку — Новую Землю, к устьям сибирских рек. Ходили на прочных поморских карбасах, на лодиях, а позже и на шняках. Не имел помор ни карт, ни описи берегов, да и берега были пустынны, не светили маяки, не подмигивали «мигалки», не предупреждали об опасностях ревуны и колокола. Поморы ходили «по своей вере» — по своим рукописным лоциям, замечали природные приметные места, взглавия, кекуры, áрешник, мошок, ставили свои глядени и отметины: кресты, гурии, юрики, вехи и оберегали все эти «памяти», знали их цену для мореходца и промысловика. Не поднимали на них руку ребята. Вот с кого туристам следовало бы брать пример.

Дети поморов рано осваиваются с морем. Летом 1952 года мы работали в южном районе Онежских шхер. На нашей экспедиционной шлюпке гребцом был плечистый подросток Володя Попов из Колежмы, было ему только тринадцать лет. Он знал в районе каждый камень, отлично греб парой, ловко управлялся с парусом, ухаживал за шлюпкой, чувствовал себя хозяином, старшим на нашем судне, покрикивал на рулевого, обычно им была пишущая эти строки: «Куды опять повела, держи прям, на каменья прешь». Слушала я внимательно указания опытного практика. Многое можно было узнать от него и о районе.

Через два года наша экспедиция была направлена в Кандалакшский залив, опорный пункт находился на острове Великом. Однажды к стоянке подошел карбасок под каким-то самодельным парусом. К нашему общему удивлению, на нем было только два мореплава-

теля: на руле мальчишечка лет семи, а второй, гребец,— парнишка постарше, но и ему было не более двенадцати. На наши вопросы, откуда и куда идут, старший солидно и кратко ответил: «Из Ковды, в Бабье, треску ловить. Мать послала, воду переживаем». На вопрос: «Как это вы одни, без старших, ушли так далеко, не боитесь?» — старший моряк коротко и выразительно ответил: «Но!?». Не обращая на нас внимания, оба занялись своим паруском. Дождавшись «живой» воды, отчалили и на нас, «научников-бездельников», не обернулись. Поморские ребята на море, на судне всегда держались серьезно, не хвалились удалью, дело делали. Наверное, помнили дедовы наставления: море смешков не любит.

Если и баловались, то только на берегу, у кромки воды, а если и отплывут чуть подальше, то сами соображают: скорее надо обратно, вода студеная. Знали ребята: «враз ноги-то скорючит, укурнешь и не выстанешь». Пловцов хороших в Беломорье было мало, вода не позволяла, прогревается она и летом только в поверхностном слое. (Поэтому всеобщее удивление вызывали там первые работы аквалангистов, особенно женщин; подводные работы мы начали в Соловецком районе в 1961 году, обследуя донную растительность).

Суровое трудовое воспитание получали поморские ребята, стоило бы нынешним взрослым оглянуться на то, как в Беломорье отцы и матери выводили в люди своих сыновей и дочерей. Мужественных, цельных, непреклонных, твердых характером людей воспитывали.

ПОМОРСКИЕ ГУЛЯНЬЯ И СВАДЬБЫ

Многовековые культурные традиции Беломорья ярко и разнообразно проявляются в устном народном творчестве, в обрядах и играх. Такие устные произведения, как песни, рассказы о природе, главным образом о море и животных, я слышала уже в раннем детстве. С играми поморских ребятишек встретилась несколько позднее, в возрасте восьми-девяти лет, они привились у нас в семье, и до сих пор я восхищаюсь ими; это игры здоровья, спорта и познания природы, мира. Игры поморской молодежи — хороводы и игрища — посчастливилось мне увидеть впервые в петров день в 1910 году в Сюзьме,

там прочно хранились старые традиции. Сюзьма — старинная деревня, она упоминается в московских документах XV века; в XVI веке — это усолье и сенокосные угодья Сийского монастыря, а в начале текущего века она, обширная и людная, славилась промысловиками-семужниками и отличными мореходами. Была Сюзьма еще известна морскими купаниями, чудесными пляжами, живописными окрестностями и морошковыми болотцами. Дачный район... Несколько позднее видела я хороводы в престол в Лопшеньге на Летнем и в ильин день в Колежме на Поморском берегу, а в конце 20-х — на Мезени. Подготовку же к хороводам самих участниц праздника, особенно девушек, которые участвовали в этих играх впервые, видела в Сюзьме и Колежме. В их тщательности особенно ярко появились сущность, значение старинной поморской игры.

Серьезное это дело — приготовление к большому празднику, очень важному для будущей судьбы его участниц. С волнением, тщательно готовились к хороводу не только девушки, но и их старшие родственницы, для которых хоровод, как они говорили, «уже заказан». Но они помнили этот праздник молодости, может быть, лучший в их жизни.

В семье Деревлевых в Сюзьме, у которых я жила летом, были две девушки. Старшая, семнадцатилетняя Саша, впервые шла как участница на хороводное гулянье, а младшая, пятнадцатилетняя Ариша, еще не вышла годами хороводы водить. Накануне праздника в большой горнице собрались все женщины: мать Саши, тетенька, крёсна и бабушка. Они обсуждали праздничный наряд девушки, вспоминали свои наряды, в которых на хороводы хаживали и женихов приваживали. Из сундуков и укладок были извлечены все праздничные девичьи сарафаны, «давешные и нонешные», ста́нушки, повязки, почёлки, платки и платы, ленты и башмачки-выставки, которые носят только на хороводах («коротеньки сапожки красивеньки на каблучке, да лента пришита по переду, а нонешни туфли-то выступки, их запросто носят»). Долго выбирали платочек, который на хороводе девушка держит в руке. В Поморье шейный вышитый платок — первый подарок невесты жениху, его так и называют — «женихов платок».

Каждая деталь наряда обсуждалась горячо, до спора, прекращала его бабушка, главная хранительница

обычаев и порядков. «Забывать стали порядки-то стародавни, наряды-то девичьи не одно с нарядами мужней жены». Затем Сашу обрядили в отобранный наряд, и начались наставления, как она должна на хороводе следить за ним. Рукава надо подбивать, чтобы они всегда были пышными, воротничок-каблучок должен быть застегнутым на пуговку под горлышко, банты под косой не вязать, ни к чему они, убор на голове (почёлок или повязка) должен скрывать «волосья», а ленты от убора в роспуск — скрывать косу девичью. Наряд Саши был скромен, ничего лишнего, это наряд девичий. Ожерелок для девушки допускался только из жемчуга или белого бисера. «Цветны-то ожерелки носить только жонкам, мужним женам, девку-то женчужок красит».

Жемчуг в Беломорье был в большом почете, это жемчуг местный, северный — речной и морской. Промышляли его на мурманском берегу, в Беломорье, в устье Северной Двины и на многих речках, впадающих в Белое море, список их достигал трех десятков. Выделялся богатый промысел в Кандалакшском заливе, в районе западной части Терского берега; жемчужницы там плодились в большом количестве, жемчуг, по словам поморок, был «наособицу чистый». Наиболее богатые промысловые участки в районе Варзуги захватил еще в XV веке Соловецкий монастырь. Добыча там велась в широких размерах, монастырь платил жемчугом церковную десятину Новгородскому Софийскому дому. Много его, отборного, хранилось и в монастырской ризнице — прямо насыпью в решете для просеивания муки. Хранитель ризницы, показывая жемчуг, брал его в пригоршню, и он ссыпался мерцающим потоком из его морщинистых рук. Не забылось это...

Московская патриаршая казна во времена патриарха Никона, знавшего о богатствах Беломорья (в молодости он был постриженником Соловецкого монастыря, а затем основателем и покровителем Крестного на Кийострове), тоже собирала платежи со своих покрученников-промысловиков в Варзуге, Керети, Кеми жемчугом. Немало его добывали поморы и для своих домашних, для украшения праздничных головных уборов жен и дочерей-невест, для их ожерелков и подвесков. «Жонка в наряде — мужик ейной добытчик».

Поморский жемчуг был скатный и половинчатый, из-

редка попадались гирьки. Скатный — это округлый или бочечкой, светлых тонов, чуть розоватый или синеватый, с легкой желтизной. Блеск северного жемчуга — матовый, теплый. Его низали на шелчину прядками и в ожерельица или нанизывали на ткань, слегка проклеенную, почёлков, повязок, кокошников. По заказу монастырей и церквей поморки низали жемчуг на церковные и священнические облачения. Половинчатый жемчуг, плоский с одной стороны, был тусклого тона, со свинцовым отливом. Его «сажали», то есть нашивали или приклеивали рыбным клеем, на почёлки, повязки, чаще на ризы икон, на облачения. Для ожерелков и подвесков он был непригоден. Для этих нарядов использовали крупный и мелкий рассыпной жемчуг.

Гирьки — жемчужины грушевидной формы, светлых тонов с блеском, использовались как подвески по краю почёлков и повязок, ими заканчивались серьги, плетенные из мелкого жемчуга.

Шитье жемчугом, низание его — очень сложный вид женского рукоделия. Прежде всего нужно было проколоть жемчужину, чтобы продеть через нее шелчину — тонкую нить, обычно шелковую или льняную, которую скручивали втугую из нескольких тончайших нитей, смоченных рыбьим клеем. Получалась упругая, очень прочная нить, ее можно было продернуть через жемчужину без иглы.

Поморки создавали чудесные узоры жемчужного шитья, узоры хранились в памяти, и каждый воссоздавался вновь с добавлениями и вариациями. Предметный узор — травы, цветы, птицы — встречался на старинных уборах чаще, чем геометрический, орнаментальный, потому что предметные узоры были символичны, каждый имел тайное значение. И выбор узора, и его расположение зависели от замысла, вкуса и мастерства исполнительницы. Славились мастерицы-жемчужницы Сороки, Кеми, Керети, Варзуги. Была молва: соро́чинки да кемлянки «щеголюхами» на хороводы да на игралища ходили, у них мастерство-то в своих руках, вот и выряжались. Низание иногда соединяли с вышивкой нитью, обычно одноцветной. Такое шитье выполняли в Сороке, Лекшме и в Холмогорском женском монастыре. Мастерская монастыря выполняла крупные заказы московских купчих на ризы для свадебных икон. Мелкий жемчуг, рассыпной, мастерская закупала в Беломорье.

Низание жемчуга в ожерелья и нанизывание его в шитье — не только мастерство, это искусство. Сложная жемчужная работа поморок отличалась высоким вкусом, чутьем материала, с которым они имели дело, пониманием, где нанизать скатную, где посадить половинчатую жемчужину, где мелкий жемчуг дать в россыпь, а где и кучно.

Слышала я разговоры о жемчуге пожилых поморок, которые в молодости сами низали и нанизывали его на прядки, уборы и облачения. Мастериц этого дела уже редко можно было встретить даже в начале нашего века. Чаще удавалось слышать воспоминания их дочерей и внучек, но они жемчужным мастерством не занимались. Это высокое искусство умолкло, и трудно ему возродиться, но память о нем живет в беломорских преданиях.

Почему жемчугу такой особый почет в Беломорье, почему так любовались им, такие слова от сердца находили о его таинственном происхождении и его тайной силе?

«Жемчужок-то наш на дивование», — слышишь в каждом рассказе о нем. Дивование — это высшая степень изумленного восхищения, затаенного недоумения перед прелестью загадочного жемчуга. В Варзуге в подтверждение его красоты старая мастерица тут же показала ожерелок, свитый в форме каната из семи прядок мелкого жемчуга. Она получила его от своей бабки, а может быть, и прабабки и готовила его в приданое внучке. Дочери у нее не было, невесток наследным жемчугом дарить было не положено. Каждая невеста в Беломорье мечтает о жемчужной хотя бы прядке или уж, ладно, о низанных жемчужных серьгах. К сожалению, уже в немногих семьях сохранились украшения из жемчуга.

Жемчуг, говорят поморки, напоминает и о радости-веселье и о горе-печали, в жизни от них никуда не денешься. «А без них тоже жизнь не в жизнь, скукота». Бытовала в Беломорье легенда о происхождении жемчуга. Мать у подножия креста сыновьего слезы лила, горькие слезы, тяжело они падали на ее плат и не скатывались, сажались, оставались при ней. И стали они тяжелым половинчатым жемчугом, который поморки сажали на покровы, плащаницы и ризы. Но сын материнский ожил, и возрадовалась мать, и слезы светлые ра-

достным ручьем покатились из ее глаз. Это жемчуг скатный, раскатился он, разошелся по всему белу свету. Все дивуются ему, лучше он самоцветов. Слеза горе облегчает, но не делит его, твое горе при тебе останется, а радостные слезы и другие с тобой разделят. Радует и печалит жемчуг, давали его в приданое девкам-невестам, чтобы ничьи, никакие слезы они не забывали.

Рождается и живет жемчуг в морских глубинах, в раковицах, в тайне растет, укрывает раковица его, накрепко бережет. Уменье раскрыть раковицу дано не каждому, замок ее надо знать, да и как его поприжать, раскрыть — секрет немалый. Растворит она створы свои нехотя, а под улиткой тихо светится жемчужина. Снимают ее со створы осторожно. Иной раз, если мелкая, найдут кучно, не одну, крупная — та в одиночку живет. Красит жемчужина все, к чему бы она ни была пристроена.

Жемчуг, по народному поверью, о болезни может заранее упредить. Повяжет женщина жемчужную прядку или низанные жемчужные серьги навесит, носит их, и вдруг начнет жемчуг тускнеть, мутным становится, серым, и не светит. Говорят, что ждет ту женщину болезнь, лечиться ей надо. Но при этом сам жемчуг заболевает — гаснет. Лечат его, есть такие люди, особый дар имеют, а какой, они и сами объяснить не могут. Вылечат жемчуг, заживет он, и тепло его какое-то опять к нему возвратится, не холодит он никогда. Дар это нашего моря, моря Белого распрекрасного. И считают жемчуг зернами. Зерно это морем дано, как хлебное — землей.

«И што оно такое, этот жемчуг? Тайна...»

Выбрав для Саши наряд, хранительницы старопрежних порядков поучали ее, как вести себя на играх. Поведение девушки и в хороводе, и на кружанье связывалось с песней, определялось ее характером. Поэтому наставницы перебрали хороводные песни и Саше наказывали: «У каждой песни свой в хороводи ход; не все уткой плавай, поведут веселую зазывную, ты веди ход с каблучка, да почаще ступай, притоптывай легонько, а протяжную распевную зачнут, ты осторожненько с носочка ступай. На круженьи попляши, и коротушки спеть можно». Бабушка сама показывала Саше, как надо держать жениxов платочек. «Чего это его, как тряпку каку из руки

свесила, поигрывай легонечно, показывай свое мастерство. Материнской женихов глаз все высмотрит».

Хороводы приурочивались к календарным праздничным дням или к праздникам местным, чаще всего к престольным, вели их в петров, в ильин, в николин день. Чаще всего в последний, не напрасно считали: от Холмогор до Колы тридцать три Николы. Хороводы вели на главном порядке деревни, на площади, если таковая имелась, на лугу за деревней, а кружанье обычно на угоре. В хороводе участвовали только девушки, а на кружанье девушки играли и плясали вместе с парнями и песни пели иные, чем хороводные. Собирались на хороводы стар и мал, приходила молодежь и из других деревень. «Девок своих тоже на хороши хороводы выводили. Яреньгски в Лопшеньгу завсегда выводили, там женихов поболе было», —рассказывала М. Кологриева.

Девушек на хоровод в Сюзьме собралось много, они присматривались к нарядам друг друга и каждая подбирала пару, с которой она платочек свой будет в хороводе держать. Так составился круг хоровода. Все девушки знали, какой ход у какой песни, особенность каждого хода. Первой запели песню «Собралися девицы на лужке игры хороводные водить». Хоровод был удивителен, девушки казались какими-то иными, незнакомыми: отважные на промысле, гребцы без устали, проворные на тяжелой рыбацкой работе, звонкоголосые в обычном разговоре, языкатые в безобидной девичьей перебранке, в хороводе они были сдержанными и точно смущенными. Тут проявлялись и девичье очарование, и их страх, и надежды — удался ли хоровод и что он принесет. Они знали, что эта хороводная игра своего рода смотрины, жизненно важные для девушек. Они вели хоровод, чтобы и себя порадовать — покрасоваться нарядами, уменьем песню спеть, и собравшимся себя показать. Всюду девушки следовали одной и той же традиции игры, сдержанной, но и завлекающей. Каждая вела ее по-своему: одна красовалась строго, другая так и светилась радостью, третья исподтишка поглядывала на собравшихся и все вместе, увлеченные хороводом, пели от души. Никто их этому не обучал — а заглядишься и заслушаешься. «Старая песня за душу берет».

Хороводы и хороводные песни в каждой деревне ведут (в Беломорье еще говорят «играют») с местными отличительными деталями. Отличаются наряды девушек,

и более всего — их головные уборы и ста́нушки. В некоторых деревнях хороводы ведут только по кругу, в других по кругу и рядками, а в иных девушки собираются группами и передвигаются в определенном порядке. На Зимнем берегу некоторые хороводные песни исполняют они, стоя в ряд «столбами», не передвигаясь. Но круговой хоровод везде главная часть игры.

Прелесть и красота хороводов — в строгости и выдержанности нарядов девичьих, в слаженности, а не в однообразии естественных движений, в соответствии их содержанию и духу песни. Вот песня широко разлилась, и движение хоровода ускоряется, девушки посматривают на зрителей, улыбаются, поигрывают платочками; песня затихает, замедляются и движения девушек, они тоже как-то притихли. Каждая ведет свою игру от души, вплетает ее в единый хоровод.

Театрализованные хороводы утратили, к сожалению, естественность игры. Они отрепетированы, движения участниц носят отпечаток какой-то механичности, безжизненности. Рассчитанная согласованность движений приводит скорее к однообразию, чем к гармонии. Обрядовое значение хороводов уже не проявляется, в них нет трепета ожидания и надежд, которым охвачены девушки деревенского хоровода. Костюмы участниц излишне изукрашены, чрезмерна бижутерия. Утрачена тонкая северная красота сдержанности и строгости девичьего наряда и повадок участниц. В Беломорье идут на хоровод в лучших, богатых нарядах, но всегда помнят, что это девичий наряд для игр на лугу, а не на свадебном пировании.

Собирались на хороводы женщины всех возрастов, молодые холостые мужчины и, конечно, вся ребятня. Собирались не только для того, чтобы полюбоваться играми, но и обсудить девичьи наряды, а также посмотреть, «хорошо ли ноне водят». Особенно приглядывались молодые мужние жены. Совсем еще недавно водили они хороводы, а теперь кончен девичий век, не для них этот праздничный обычай — «девицам веселье, а жонкам только посмотренье да вздохи». Вот и вспомнят коротушку:

В девицах была — певала,
Хоровод водила и плясала,
А за мужем, молодухой,
На лугу и не бывала.

Они «большухи», хозяйки дома, не всегда у них выпадает часок и на «посмотренье». Все же пришедшие на праздник молодухи — главные знатоки, ценители и критики, всегда доброжелательные — хороводы-то родной деревни. «Ишь как вьют круг-то, ровненько одна за другой поспевают». Другой молодухе понравилось, как идут девушки рядками, с поклоном то ли морю, то ли родному дому. «Хорошо идут, как холсты расстилают». Пожилые поморки, матери женихов, тоже приглядывались, но их больше интересовали не хороводы и песни, а девушки. «Тяжело ступает Дарья, но уж в работы хороша, могутна девка, дельна невестка будет». В другой группе — иной разговор. «Марфуше-то не привалило счастья, с лица не хороша, большеноса, когды какой жених возьмет». Тут в разговор вступила поморка еще постарше: «Марфа не баска, а тельна, смирёна, работяшша, приветна и с приданым. Чего ешшо молодому мужику-хозяину надо. Найдутся и ей женихи».

Женщины, у которых дочери на выданье, присматривались к женихам. «Смотри-ко, Михайло губы-ти сжал, а глаза вострые, сущий коршун, на отца схож. Он-то жену в строгости держал, а наряжал. Баска была в молодости, да и теперь пава, большуха. Михайло красовитый, девкам по сердцу. Ишь, он себе присматривает. Посватат — ни одна не откажет, не задержат и отец с матерью, и приданым не обидят. Семья Михайлова крепкая, в почете, дóчери выданы, он сын один, все ему». Другая собеседница задумалась, медленно произнесла: «Так-то оно так, семья почетная, справный дом, на Мурманском стан ставят каждогодно. Жених, конешно. Да над молодухой-то три воли будут, мужня, свекра и свекрови. Тут повертишься». Грустно сказала, видно, уже на себе эти «три воли» испытала.

Оценивают зрители и хороводные песни, и певуний. По общему мнению, «хороводные-то песни веками живут». И матери, и бабушки участниц хороводов, о которых идет речь, знают эти песни. «Мы, бывало, певали их; и слова, и голос, что и при теперешних хороводах». Пожилая поморка, гостья из Ненoксы, в прошлом главная запевала в хороводах, прислушивалась к исполнительницам. «Главная голосунья у вас звонкая, в нитку песню ведет». Подхватывали сразу же эту песню подруги, но не все, тоже только «голосуньи». Некоторые же, зная песню, только подпевали — в нитку не все вести

могут. Их пение составляло как бы фон песни, усиливая впечатление. Поют все самозабвенно, хороводы-то не часто водят, праздник этот памятный.

Анисья Дмитриевна Майзерова сказала мне, что для нее самая любезная песня та, которую надо петь «не на людях, а в одиночку»: много скажешь этой песней, радость и печаль свою выльешь. И старческим тихим голосом, с остановками, она пропела:

Жила пташечка во лесе
Гнездышко свила,
Нанесла яичушки
Вывела птенца,
Ростила, кормила,
Отводила ворогов.
Встал он на крыло,
Мать не забывал,
Ей корма носил.

А пришли охотны люди
Разорили гнездышко,
Всех поубивали,
В кошелй свои поклали,
Так пришли на землю нашу
Злые вороги — германы,
Порубили наших сыновей,
Корень наш сгубили.
Слезы-горе нам оставили.

Песня эта сложилась или в период, или после первой мировой войны. Кто сложил — не ведомо. Пели матери сиротливые, сыновей потерявшие, но не погребавшие, не оплаканными они в чужой земле лежат. Слышала песню в 1959 году. Не знаю, записана ли она специалистами-фольклористами.

Кружанье — это гулянье, танцы, песни молодежи, часто под гармонь. Они проводились на лугу или на угоре. Здесь нет строгих традиционных правил, по которым ведут хоровод, и песни здесь иные. На эти игры собирались и в те праздники, в которые водят хоровод, и в свободные воскресные дни, когда нет страды на лугах, полях и на море. Танцы, очень своеобразные, напоминали старинную кадриль, но с упрощенным рисунком движений, с упрощенными фигурами. Участники кружанья чаще гуляют рядами или парами, держат друг друга за руку. Девушки и парни составляют и отдельные ряды, и общие. Поют преимущественно песни короткие, частушки. Эти песни-коротушки, которые исполняют девушки, и по содержанию, и по исполнению отличаются от коротушек мужских. «Ну-ко слушай, как девки-то частят, а ответно парни-то грохнут». Вот пропели девушки-невесты.

Милый глянул на меня
Мое сердце встрепенул.
Я глазком ему мигнула.
Он, обмёныш, отвернул.

А молодые парни-женихи в ответ грянули:

Два весёлка, оба новых,
Лодочка легка.
За ре́ку перейду
Там себе и милушку найду.

Тогда девушки еще быстрее, еще громче, с задором ответили:

Я плясать пойду
Стару русскую.
Кто перепляшет,
В женихи себе возьму.

Эта песенная перекличка состояла из девяти куплетов. Слышала ее в Сюзьме в 1911 году. Исполнение куплетов перемежалось танцами и гуляньем по угору.

Две лирические песни на гулянье я слышала в маленькой деревеньке. Первая напоминает коротушку, ее пели девушки:

По угорушку вечор гуляла,
С кем гуляла, не скажу,
На ушко каки слова слыхала,
Никому не расскажу,
При себе оставлю,
В сердце схороню.

Вторая песня — прощание с вечером, с гуляньем. Эту песню пели все, особенно дружно и торжественно.

Море наше Белое распрекрасное
Широко, далеко ты раскинулось,
Не шумишь, не пылишь, не волнуешься,
Закатилось солнце красное
За высоку гору, за морску околицу.
Закрасело небо ясное,
Свет последний пал на крутом берегу.
Все ветра на покой ушли.
Морю Белому распрекрасному
Отдадим свой поклон и мы.

Гулянье окончилось, все расходились по домам, а песня еще долго плыла над деревней. Это песня тех, кто трудится в Беломорье, кто понимает и чувствует его красоту и величие, кто живет морем, кто владеет поморским Словом.

Не умирает песня в Беломорье, точнее, не умирает вековечная потребность в ней. В песне, которая «сердце веселит и душу красит».

В Летней Золотице давно слышала я песню, которую сложила Катюшка, длинноногая, проворная, с косицей

в полтора вершка девчушка, ей только-только исполнилось шесть лет. Она нянчила своего десятимесячного брателка, крепкого, спокойного мальчугана. Мать была на сенокосе, вечерело, мальчугана надо было уложить спать. Он лежал в зыбке, умытый, сытый, что-то бормотал, ручонками хватался за край зыбки, пытался подняться на ножки, но Катюшка настойчиво отталкивала его на подушку и раскачивала зыбку. Наконец мальчуган успокоился, укачался. Катюшка запела колыбельную:

В зыбке спи, засни-и-и,
Закрой глазаньки-и-и,
Дожди пали на двори-и-и,
Воет ветер в труби-и-и,
Ушла мамка на мори-и-и,
Принесет нам рыбоньки-и-и,
В зыбке спи, не ори-и-и,
На подушке лежи-и-и,
Не марай окутки-и-и,
Замарашь, надаю по задници-и-и.
Закрыл глазки, спи-и.
Петушок, брателок.

Так родилась песня. Эта девчушка складывала песни, нянчась с братишкой, играя с подружками, «убираясь по хозяйству», помогая матери. Она слышала — все поют...

Старинный свадебный обряд в Беломорье еще в начале нашего века сохранялся почти полностью. Теперь он исчез, вернее, заменился современным, по-видимому, более отвечающим ускоренному темпу жизни нашего времени.

Поморский свадебный обряд был и менее сложным, и менее длительным, чем в средней полосе России или на Украине. Значительной частью его были проводы невесты, ее прощание с родительским домом, большое благодарение мамушке и батюшке, вырастивших дочь в любви и заботах, всему ее научивших, благодареньице брателку и сестрицам за помощь и любовь, прощание с девичьей волей, девичьими радостями и утехами. Эта часть обряда была сердечной и, наверное, самой памятной для невесты. Поморки вспоминают прощание с родным домом как большое событие в своей жизни.

На проводы собирались подруги невесты, родные, соседи, никому не было запрета послушать и посмотреть, как горюет невеста перед расставанием с родительскими семьей и домом. Семья в Беломорье была крепкая.

Проводы начинались заплачкой, которую вела пожилая женщина, заплакальщица, опытная в таком деле. Ее приглашали на проводы, договаривались, какую заплачку она поведет. После заплачки подруги невесты пропевали провожальную песню, затем начинала прощаться невеста. Два раза была я в Беломорье на проводах невесты. Заплачки и провожальные песни были традиционны, и их варианты, кажется, записаны, и не раз, фольклористами. «Прощание» невесты в двух упомянутых случаях, по-видимому, было импровизацией и потому имело какой-то свой, очень личностный характер. Приведу то, которое я слышала в Пушлахте.

Невеста сидела у стола. Она начала прощание, волнуясь, но без слез; увлекаясь, она волновалась сильнее, полились слезы, а затем прощание не раз прерывалось ее плачем и рыданиями.

Жила в семье родительской, красовалася,
Мамушка и батюшко любили свое дитятко,
Учили, наставляли на жизнь хорошую,
Жизнь правильную, безобманную.
Учили ко всему руки приложить,
Никакого дела из рук не ронить.
Поклонюсь я мамушке и батюшке
Поклоном до земли с благодарением великим,
За любовь их, за учебу, за благословение,
За вознаграждение, за приданое,
Брателку и сестреницам своим
Благодареньице приношу от сердца своего.
За помощь, за веселие, за играния.
Ухожу из дому родительского
Во чужу семью на жизнь новую,
Жизнь новую, незнакомую.
Кто научит, наставит словом добрым,
Кто скажет ласку родительску,
Расстаюсь я с волей девичьей,
С играми, песнями хороводными,
С утехами да нарядами девичьими.
Расплетут мне косу — красу девицы,
Уберут за повойником,
Кончится жизнь и воля девичья.

Прощание невесты постепенно развертывалось во многочасовое трагическое действо с многочисленными участниками. Невеста билась руками и головой о стол, у которого сидела. К рыданиям ее присоединились рыдания подруг. Начала причитать и мать невесты, жалела дитятко родимое, желала счастья радостного. Ее причитания подхватывала матушка крёсна. Девушка шла замуж по собственному согласию, сетуя и рыдая, она

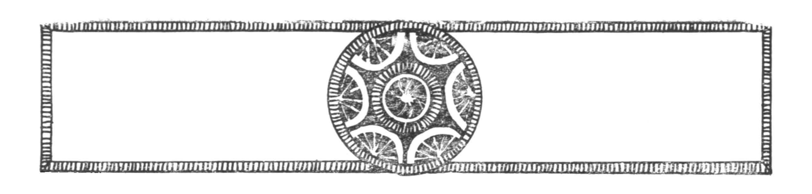
соблюдала обычай, традиции, но невольно отдавалась страху перед переменой жизни; она уходила в другую деревню, где жил ее жених, и искренне переживала разлуку с родительским домом.

Пожилые поморки, многое повидавшие и испытавшие немало, одобряли невесту: «Ладно девка плачется, отца, мать чтит, а идет в хорошую семью, жених крепкий хозяин...». «Парень сыном-то хорош, да каким мужем будет, иные, тоже хорошие сыновья, кулаки-то на жонке пробуют», — говорили другие. Подруги увели обессилевшую невесту и уложили спать.

Под венец невеста шла в лучшем своем девичьем наряде, в почёлке со спущенной косой, покрытой лентами головного убора. После венца в трапезной церкви старшие родственницы сняли ее почёлок, расплели косу, закрутили волосы в две пряди и закрыли их повойником. Свадебный поезд с песнями под гармонь направился к дому родителей мужа, где и будет жить новая семья. День был ясный, теплый, а молодых укрыли «шубным» одеялом. Примета такая была: если после венца молодые едут на свадебное застолье под меховым одеялом — жизнь их будет безбедной.

Во многих беломорских селениях молодых при входе их в дом не осыпали зерном и хмелем, их встречали хлебом, солью, иконой. Перед застольем молодая жена меняет свой девичий наряд, крёсна матушка уже приготовила ей женские ста́нушку и сарафан. Свадебное застолье, шумное, с песнями, плясками, шутками, длится долго. Многие этнографы уже описывали это празднество. Следует только отметить, что почти в каждой деревне свадебный обряд имеет особенности. Но всюду к свадьбе готовятся основательно, она начало новой семьи.

Много было у меня встреч с Беломорьем, краем сильных, мужественных людей, воспитанных морем. Они трудятся с отдачей всех своих сил и знаний, уважают человека, ценят семью, товарищество, взаимопомощь; повседневную жизнь, простую и скромную, они украшают творениями собственных рук. Они живут и оставляют на родной земле глубокий след. Они хранят бесценный дар — Слово и умеют пользоваться его великой силой.

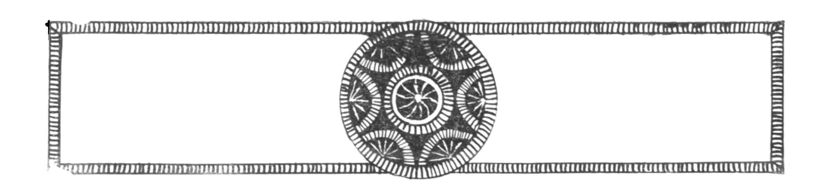


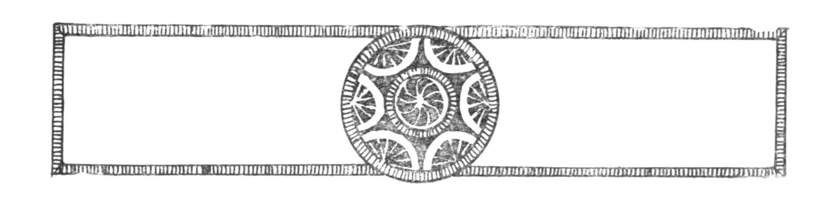
ПОМОРСКАЯ „СПРАВА"











Суровые климатические условия Беломорья, работа помора на судах, лишенных элементарных удобств, холод, теснота, сырость, волна, а то и шторм, постоянный ветер со всеми подветерьями, отрыв от дома, часто длительный, — все это требовало специального снаряжения, всего необходимого человеку для жизни на промысле, во время плаваний на Мурман и в Норвегу. Необходимы были и особая одежда и пища, которую возможно было бы приготовить в условиях промыслового суденышка. Все надо было предусмотреть, обо всем должен был позаботиться каждый участник промысловой артели. Помощи на море ждать неоткуда и не от кого. Конечно, каждая артель снаряжалась в пределах своих возможностей и по обычаям своей деревни. «В одной деревне так, а в другой едак». Приводимые ниже сведения о справе и харче поморов характеризуют обиход, главным образом привычный для южного и западного Беломорья.

Одежда помора проста и практична как по ткани, так и по покрою. «Все сами улаживаем по-хозяйски и с умом», — сказала мне М. Агафелова из Унежмы.

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА.

Рубаха тельная из некрашеного грубого беленого холста, рукава длинные, ворот «под горлышко», то есть без воротника, на завязках, без пуговиц.

Портки тельные из некрашеного грубого беленого холста, пояс собран на шнурке.

Рубаха верхняя из сурового тонкого холста, из одно-

цветной холстяной крашенины, из узорного тонкого холста, который ткут из пряжи разных расцветок. Обычно применяют две расцветки. Узор в клетку, в шашку, редко в полоску. Носят или поверх портков с опояской кожаной, шнуровой или тканой, или заправляя в порты под гашник (реже).

Порты для работы на промысле летом—из крашенины, зимние — из домашнего сукна, для выделки которого используют и овечью, и коровью шерсть. Порты без пуговиц, на шнуре — гашнике (или гаснике), который стягивал порты в пояснице. «Гашник туже в узел вяжи, не осрамись». Нижняя часть суконных портов иногда была из холста, она вправлялась в голяшки носков, в сапоги, в валенки. Эта часть портов называлась «гачи».

Бузурунка — рубаха, плотно вязанная из толстой шерсти, удлиненная, закрывающая поясницу, ворот «под горлышко», рукав длинный «на запястьице», то есть на манжете. Носят при работе зимой во дворе и на промысле. В последнем случае под полукафтаньем или кожухом. Одноцветная или с узором из коричневой шерсти (натуральный цвет темной овцы).

Безрукавка — глухой жилет до поясницы, редко длиннее. Обычно меховая: 1) овчинная, внутрь мехом, покрыта снаружи какой-нибудь тканью, чаще всего крашениной, 2) из шкуры нерпы, мехом наружу, подкладка тканевая. Застежка безрукавок спереди, от горла до низу, пуговицы деревянные или костяные, те и другие своедельные, петли шнуровые. Овчинную безрукавку носили дома при холодной погоде в любое время года. Нерпичью носят на промысле, часто под полукафтаньем или роканом. Нерпичья не промокает. «Дождь по ей слезами катится». И еще: «По нерпе-то дождь кропает» (кропа — капля).

Полукафтанье — длинная куртка до половины бедра или до колена из домашнего сукна, на тканевой подкладке или на овчине, иногда и без подкладки и овчины. Ворот глухой, застежка только до поясницы, на шнуровых петлях, пуговицы деревянные плоские или в виде бруска; были и костяные, а также костяные, обтянутые кожей. Рукава в запястье иногда обхвачены ремешком. Без пояса, с карманами. Носят в холода.

Кожух — куртка различной длины из проолифленной ткани. Непромокаемая. Носят на промысле сверх бузурунки или полукафтанья. Застежка на прорезных пет-

лях, пуговицы обычно костяные. Называют куртку и по-норвежски — «рокан».

Полушубок овчинный — зимняя одежда для всех случаев. Подпояска — сыромятный или из выделанной кожи ремень, вязаный или тканый пояс, его обертывают два-три раза по пояснице. Застежка на шнуровых петлях, пуговицы костяные, иногда деревянные валиком.

Окутка шейная — шарф, вязанный из толстой шерстяной нити. Вязка часто узорная, двух-трехцветная. Носят и с полукафтаньем и с полушубком. Концы под одежкой.

«Оболочка» на голову — шапка, обычно меховая, но бывают и кожаная с мехом, и суконная на меху с меховой оторочкой вокруг лица до бороды.

Ушанка — меховая шапка, мех двухсторонний, то есть снаружи и внутри, с висящими до подбородка меховыми ушами, завязки под подбородком.

Бухмарка — зимняя шапка из пыжика с ушами до подбородка.

Чебак — зимняя меховая шапка с длинными ушами, которые обертывали вокруг шеи и завязывали узлом на затылке.

Скуфейка — зимняя шапка из сукна, стёганая. Обычно носят ребята.

Обувь помора почти повсеместно была одинаковая.

Бахилы — кожаные, широконосые сапоги (кожа тюленя, нерпы, белухи), мягкие, цельные, наподобие чулка без отдельной подошвы или с подошвой, пришитой к следу, без каблука, высокие, до паха, верх сапога раструбом. Чтобы сапог плотно держался на ноге, не сползал, его перевязывают под коленом ремешком, а верх раструба двумя-тремя ремешками прикрепляют к поясу портов. Стельки внутри сапога в два-три ряда. Сапоги непромокаемые в результате специальной обработки — пропитки кожи ворванью. Носят на промысле.

Катанки — валяные сапоги из коровьей шерсти. Зимняя обувь. Низ ступни иногда обшит кожей тюленя.

Каньги или *каньки* — валяные или меховые сапоги с голяшками из домашнего сукна. Зимняя обувь. Старые поморы носят и летом. «Каньги от ножной болезни пасут».

Пимы — меховые сапоги из шкуры оленя, мехом наружу. Обычно натягивали на липты — меховые чулки (мех внутрь). Зимняя обувь.

Упаки — мягкие сапоги из тюленьей кожи, без мехового покрова, удаленного при обработке. Летняя обувь.

Уледи — мягкие сапоги из тюленьей шкуры с меховым покровом. Летняя обувь.

Струсни — кожаная обувь, напоминающая современные тапочки. Шились из цельного куска кожи без отдельной подошвы. К ноге подвязывались ремешком. Летняя обувь мужская, женская, детская. На тканевой подкладке или без нее.

Вачаги, вачки, вачеги — кожаные рукавицы, надевали поверх вязаных.

Буйно — брезент из шкур или кожи тюленя или из проолифленного толстого грубого холста. На промысле применялся для укрытия. «На зверобойке буйно-то за дом либо хоть за рыбацку избу сходит».

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА, особенно праздничная, нарядна и красива.

Исподница, исподняя — рубашка нательная из беленого холста с короткими рукавами до локтя или несколько ниже локтя. Шилась с ластовицами и намышечниками.

Юбка исподняя — нижняя юбка, носили под сарафаном.

Сарафан—безрукавая одежда: или на лямках, не закрывающая шею, без застежки, или глухая «под горлышко», застежка спереди сверху до низу. Опояска сарафана тканая, вязаная, с цветным узором. Материал, из которого шили сарафаны: самоткань цветная, клетчатая, в шашку, реже в полосу, нарядные шили сарафаны из гаруса — шерстяной цветной ткани, из канифаса — шелковой цветной узорчатой ткани.

«Рукава», или стáнушка,—короткая рубашка с пышными рукавами из тонкой льняной ткани, носили при сарафане. Рукава часто украшали вышивкой или кружевом. Молодые женщины носили рукава длиной до локтя, старшие — подлиннее, «за локоток». Стоячий воротничок-каблучок, застежка — нарядная пуговка. Часто воротничок заменяли кружевной оборочкой.

Передник — фартук. В будни, «для обрядни», носили из самоткани. Нарядные фартуки — из самоткани, из шелка с вышивкой, с кружевами, с прошвами. Фартуки без нагрудников, от пояса до низа сарафана.

Шубейка — верхняя зимняя одежда на меху, покры-

та сукном или «шерстью из Норвеги». Длина до колена или до «пол-икры». Носили и с воротником и без воротника. Прорезные петли, пуговицы костяные.

Шуба — длинная зимняя одежда на меху с меховым воротником. Прорезные петли, пуговицы костяные. От бабушек и матерей переходили по наследству к дочерям и к внучкам. Носили при поездках в другие деревни, на праздники, смотрины, свадьбы и похороны.

Шаль — большой платок фабричной работы, шестяной или шелковый, узорчатый с кистями. Носили только женщины в торжественные дни. Шаль накидывали на плечи.

Полушалок — платок фабричной работы, шерстяной или шелковый, узорчатый, иногда с кистями. Повязывали голову. Накидывали и на плечи. «Справа» также только для замужних женщин.

Повойник — головной убор женщины, закрывающий волосы. Повойник на головы — конец девичьему веселью. «Девичью волю кольцом сковали да повойником повязали, теперича мужня жена, воля не своя».

Почёлок — праздничный головной убор девушки, шит шелками и часто жемчугом. На лоб опускаются подвески из бисера или мелкого жемчуга. Сзади по спине спускаются ленты, покрывают косу. «Почёлок в жемчугах — у невесты лапотья в коробах».

Варежки — узорчатые многоцветные. Хвастали: «У ненокшанок в варежках десять узоров, а у нас, мезенок, шестьдесят».

Женская обувь, летняя и зимняя, мало отличалась от мужской, но она была выполнена более изящно.

Катанки — зимние валяные сапоги, катали из коровьей и овечьей шерсти светлых тонов, красной краской наносили на голяшки легкий узор. Назывались «чесанки».

Пимы шили из меха оленя различной расцветки, подбирали куски меха «в узор», украшали по швам кантами из окрашенной ткани.

Уледи и *упаки* шили из кожи и шкуры нерпы, более мягко обработанных.

Носки, заменявшие домашнюю обувь, вязали узорами из шерстяной нити 3-5 расцветок.

Выставки — башмаки кожаные с небольшим наборным из кожи каблучком, закрывали лодыжку, перед на шнуровке. Девичьи выставки украшали полосками крас-

ной ткани или ленты, ее пришивали вдоль шнуровки по обе ее стороны. Обувь праздничная, ее носили на игры, на свадьбы, на девичники. «Выставки на хороводы носят, красивеньки сапожки, щеголихи украшают еще и цветным».

СПРАВА ДЛЯ СНА

Кровать — обычно деревянная, стояла в горнице. На ней спали родители, отец и мать. Ставили за загородку кровать — для бабушки. Дед спал на полатях или на печи, в избе.

Полати — настил деревянный между печью и стеной в избе. На полатях зимой спали и дети. «Без полатей и изба не изба. На полатях кости старые хорошо греть да и спать удовольствие.

Повалуша — маленькая горенка, иногда без окна, вход в нее обычно был из сеней. В ней спали летом вповалку все члены семьи. «Повались в повалуше, холодок там».

«Место» — постель. Это мешок, набитый оленьей щипаной шерстью или пером. Шерстью там, где население занимается оленеводством, пером там, где развита охота на дичь. (Домашней птицы в Поморье не держали). Такие постели были на кровати и в повалуше. «В приданое девке дали перинно место».

Подстилка — домотканая из шерсти или из узких полосок старой ткани (изношенная одежда) на редкой основе из льняных толстых нитей. Широкую подстилку (на ручном ткацком станке широкую ткань выткать невозможно) получают, сшивая две ее полосы. Иногда подстилку делают из грубой холстины. Холщовая подстилка применялась в качестве простыни, которой покрывали «место». «Подстилка наперник бережет».

Шубное одеяло — меховое, укрывали «молодых». Символ достатка. «От венца молоды едут под шубной окуткой».

Сголовье, подголовье — подушка, набитая оленьей шерстью или щипаным пером. На кровати их было несколько, складывали «горой», одна на другую. «Перьяно сголовье мягче оленьего».

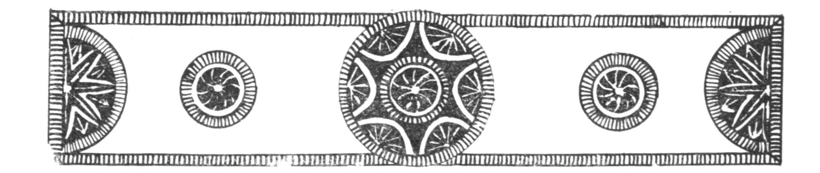


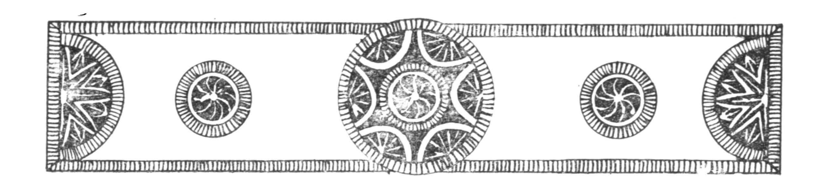
ПОМОРСКИЙ ХАРЧ











Пища поморов была достаточно разнообразна: она определялась наличием в Беломорье продуктов, пригодных для питания, а также возможностью получить их дополнительно в Подвинье и Обонежье, главным образом в Вологде, Устюге, у Соли Вычегодской и в Онеге. В этих пунктах обычно закупали зерно, крупу, муку, толокно и некоторые овощи.

Зерновые в Беломорье сеяли на южных землях в районах Двинского, Онежского и Кандалакшского заливов. В северных районах посевы встречались редко. Сеяли главным образом ячмень (жито), реже рожь, пшеница отсутствовала. На год своего ржаного хлеба, даже и в тех деревнях, где рожь сеяли, не хватало, точнее, его хватало месяца на три. Закупали хлеб в Архангельске, Онеге, Холмогорах, где вели торг хлебом и рыбой монастыри: Соловецкий, Николо-Корельский и Антониев-Сийский. Они перепродавали хлеб из запасов, закупленных также в Подвинье, а рыбу доставляли со своих многочисленных морских промыслов. Закупали ее «верховские».

Ячмень перерабатывали на житную муку — толокно и крупу-зáспу на месте; зерно для размола возили на монастырские и «хозяйские» мельницы, их было немало. По-видимому, потребность населения в ячменных продуктах удовлетворялась на месте более или менее полностью. Мне не пришлось встретиться с документами, в которых упоминалось бы о закупке ячменя наравне с рожью или пшеницей.

Хлеб, рыба и молочные продукты были основой питания, мясо — баранину, дичь — употребляли сравнительно редко, варили из них «шти» с кислой капустой, прели «шти» в штенниках в печи, после выпечки хлебов. Об овощах упоминается в документах начала XV века: заводили «капустные и репные огородцы» на Летнем берегу и даже в Варзуге. Картофель появился только в середине XIX века. Подсобные продукты ягоды и грибы, заготовляли в больших количествах.

В Беломорье всегда было уважительное отношение к хлебу. Раньше в поморских деревнях никогда не встретишь на улице ребятишек с куском. Выскочил кто-то из застолья, дожевывая кусок, — отец или дед: «Куды это кусовничать пошел, сядь на место», да еще провинившемуся отец скажет: «Посидишь часок». И сидит, возразить не смеет, поглядывает в окно, какие такие новости у ребят-дружков...

Выпечка хлеба — сложный и торжественный обряд. Хозяйка с вечера приносила из кладовой в избу квашенку, тщательно повязанную чистой холстиной, на дне ее кусок закваски, тестенник, мутовка. Повязывала «большуха» голову чистым платком и, благословясь, заводила квашню. Как только раствор вы́ходит, она добавляла соль, муку, просеянную сквозь сито на ночевке. Замесив густое тесто, закрещивала его — выдавливала на поверхности форму креста; квашенку, накрытую холстом, ставили в теплое место. Ранним утром, убедившись, что квашня выстала, хозяйка затапливала печь. «Не выстала квашня, хлебов катать не принимайся, так и в другом деле». Когда дрова прогорали, она разгребала угли вдоль стенок печи и мокрым помелом из сосновых веток «пахала» печной под. «Дух-то какой лесной в избе от помелья». К слову, вязать помельё — искусство не малое.

Пока топилась печь, хозяйка разделывала тесто на караваи, а когда они подойдут, влажной рукой оглаживала каждый, чтобы у испеченного хлеба корочка блестела, а затем на лопате сажала хлеб на горячий под. Испекшийся хлеб раскладывали на столешнице и накрывали холстиной. Для ребят пекли из хлебного теста опекиши, калачи, солоники и репники. «Репники — не пироги, а ребятам забава». Аромат ржаного хлеба не забывается. Многим во время войны во сне виделся подовый ржаной каравай—это наше северное чудо. «Ржа-

ной-то хлебушко всем хлебам дедушко. Духмяный он, скус в ём, и сухарь рассыпной». По праздникам пекли рыбники, пироги с различной начинкой, преимущественно рыбной, шаньги, ягодники, наливашники, калитки, колоба. Детям за столом хлебное раздавалось рукодано, повтора не полагалось. Все печеное из муки в Беломорье называлось «хлебное». Потребление хлебного сопровождалось чаепитием. Чай был известен с начала девятнадцатого века, его первоначально привозили из Норвегии. Чаепитие распространилось быстро, чай заменил собою кеж, сок из ягод. Пили чай обжигающе горячим, пили долго, с наслаждением, пока в большом самоваре хватало воды; бывало, самовар доливали несколько раз. Сахар был дорог, пили чай вприкуску или с ягодами. Мужчины в праздники выпивали немало «вина» (так называли покупную водку), женщины прежде водки не пили. «Рази пригубим когды». К большим праздникам, семейным, календарным и престольным, везде варили солодовое пиво, его попивали и женщины. «Оно не вино, к песням ведет, веселит, вино да брага под стол валит, не один дён головушку мутит».

Уже ранней осенью поморы запасали необходимые продукты, по возможности, на всю долгую зиму, на время бездорожья. Хранили запасы в погребах и в подпольях.

По документам можно проследить, что на протяжении четырех столетий поморский харч был довольно традиционным. Пища всех — «хлебное», рыба и молочные продукты, дополнительно овощи, ягоды, грибы.

ХЛЕБНОЕ. *Хлебное без начинки:* хлеб ячменный и ржаной. Пекли на поду печи округлые караваи диаметром до 26—30 сантиметров, каравашки диаметром до 20 сантиметров и опекиши — плоские хлебцы диаметром до 10 сантиметров; на сковородах пекли шаньги, калачи, колобы, алабуши; на припечке жарили блинцы и оладьи. «Шаньга ли не еда?».

Хлебное с начинкой. Рыбники — в тесте запекали потрошеную рыбу целиком — с головой, хвостом и костями. «Ноне народ узкогорлой стал, рыбник, вишь, с костями, подавишься, подавай им пироги». Пироги — в тесте запекали рыбу, резанную на куски, иногда прослаивали их кашей, круто сваренной на воде; кулебяки — открытые продолговатые пирожки с рыбой; калитки — открытые, четырех- или трехугольные пирожки с творо-

гом; ягодники — ватрушки с ягодами; наливашники — лепешки тонкие, политые сметаной с мукой. «Наливашники в рот просятся».

Каша. Крупяную ячневую (ячменную) кашу варили в крынках в печи на воде или молоке; воденяшу из житной (ячменной) муки варили на припечке, замешивая на круто кипящей воде, в печь не ставили; сухомес — замешивали на воде толокно до густой каши, не варили, приготовляли обычно на промысле. «Всё поели и на сухомес сели. Сухомес-то поперек горла станет».

К кашам добавляли масло растительное или коровье топленое. Молоком кашу из кружек не запивали, его прихлебывали ложкой из общей крынки, ложка каши — ложка молока. Воденяшу ели с простоквашей. «Воденяша ждет простокваши. На промысле и воденяша в охотку».

Из мучных высевок приготовляли кисель.

В XIX веке появились каши пшенная и гречневая.

РЫБА. *Треска* — основная рыба на застолье помора, ели ее свежей, соленой, вяленой, сушеной, варили из нее уху, запекали в ладках, печигах. «Трешшочка завсегда хороша».

Сельдь употребляли тоже повсеместно; из свежей варили уху, запекали ее в ладках и в тесте, но чаще ставили на стол сырую — соленую. «Селедка рыбка мала да скусна».

Палтус обычно употребляли соленый; для ухи, для жарения, для пирогов. «Палтус гостит не часто». Его промышляли на Мурманской страде и привозили в Беломорье после окончания промысла.

Зубатку ели и свежей, и соленой, варили уху, запекали в ладках и в тесте. «Зубатка рыба сытная».

Сиг — «сижки в рыбники», свежие и соленые.

Навага — «на двойну уху, для скусу».

Окунь — «окушки для ушки».

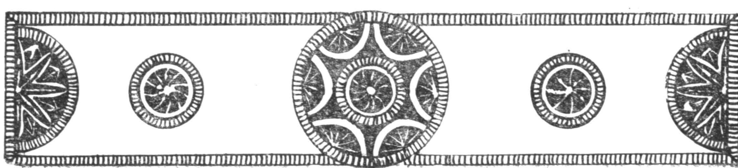
Камбала — «на безрыбьи и камбалы поешь».

Семга — рыба главная для большого застолья, «для гостеванья». Предпочитали в пироге или соленой в закуске, редко варили из нее уху, на это шли голова и хвост.

Сущик — сушеная мелкая рыба для ухи. «Корех, ерша берем на сущик».

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ. *Молоко пареное, простокваша, сметана, творог*—его ели с молоком; творог, вы-





держанный в печи, значительно обезвоженный, но не сухой, подпрессованный и посоленный заготовляли для промысловиков. Такой творог назывался «ставка». Его закладывали в лагун — ушатик с вплотную пригнанной крышкой, в которой была втулка, через нее и доставали творог по мере надобности.

ОВОЩИ. *Капуста* — обычно привозная. Ее солили, заквашивали, ели с растительным маслом или с квасом, ею заправляли щи мясные и «пустые».

Редька — ее терли, ели с растительным маслом, чаще с квасом. «Щи с таком, редька с квасом, вот и наелся».

Репа — из нее приготовляли пареницу: очищенную от кожуры репу резали на крупные куски и парили в малом количестве воды в глиняном горшке под крышкой, в печь ставили после хлебов; репу, нарезанную ломтями, вялили на ветру или в остывающей печи; хорошо сохранялась она в мешках и плетюхах.

Брюква — приготовляли из нее пареницу так же, как из репы, кроме того, крупную запекали в кожуре на поду печи.

Пареница из репы или брюквы была самостоятельной переменой в обед, заедали ее хлебом. «Пареница ребятам всласть».

Картофель варили в шелухе, ели с рыбой. Его в Беломорье было мало.

ПОХЛЕБКИ. *Уха рыбацкая,* навар рыбы — первая перемена за обедом; рыбу подают на стол как самостоятельную вторую перемену. Уху хлебают, закусывая хлебом. «Ушка хлеба подбирушка».

Щи мясные — варили главным образом баранину, заправляли заспой, квашеной капустой;

Щи «пустые» — без мяса, из крупы, заправляли репой, брюквой, квашеной капустой.

Губница — похлебка из свежих или сухих грибов, заправляли заспой. «В губнице сытности мало, так, похлебаешь для порядку. В губнице белой боровик хорош».

ЯГОДЫ. *Брусника* употреблялась пареная и толченая — для киселей и начинки для ватрушек, хранили ее в деревянных бочонках или ушатах.

Клюква, жаровица — ее заготовляли для киселя, хранили замороженной в мешках и плетюхах. «Жаровица жар большой в человеке тушит. Выйдешь на наше

болотце, жаром по осени горит — то жаровица поспела».

Морошку хранили без добавок и обработки в обильном собственном соку, в деревянных ушатах; ягоду употребляли натуральной, из нее варили кисель, добавляли в чай, в квас, начиняли ватрушки. «Морошку запасать — цинги не знать».

Черника — ее сушили, варили из свежей, а зимой из сушеной кисели, запекали в пироги и ватрушки, употребляли в качестве лекарственного средства при желудочных заболеваниях.

Голубель, голубица, гонобобель — из нее варили кисель, начиняли ароматной ягодой ягодники.

Малина — ее главным образом сушили, употребляли как лекарственное средство против «лихорадки».

Из всех этих ягод отжимали также сок, который называли «кеж»; из него варили зимой кисель, добавляли в кипяток взамен чая, получался «кежный чай». «Кеж малиновый — первое лекарство».

Все ягоды заготовляли в больших количествах.

НАПИТКИ. *Сбитень* — кипяток с кежем или, реже, медом.

Чай поморы привозили из Норвегии, пили с кежем (редко) или с ягодами, позднее, в XIX веке, с сахаром «в прикус».

Квас хлебный. Лучшим считали «квас вырви глаз», то есть кислый, пенистый (для опохмелки), квас для питья за обедом или на пожне подслащивали морошкой.

Пиво солодовое — «оно веселит», *брага ячменная* — «она под стол валит»; эти напитки варили дома на праздничное застолье.

Застолье, то есть трапеза, — это своеобразная, особая в Поморье традиция, почти ритуал приема пищи. Вся семья три-четыре раза в день чинно, без опозданий и разговоров, садится за стол, который стоит в избе, в большом углу. «Утреннее», или «утрешнее», подавалось на стол зимой в шесть-семь часов, а в летнюю страду в пять часов (иногда и в четыре). Ели холодную рыбу, пили кежный чай с хлебным, иногда хозяйка успевала испечь на припечке блинцы. Обед собирали в одиннадцать-двенадцать часов, на стол обычно подавали две перемены. Около пяти часов собирались все на полдник, или паужну, доедали то, что оставалось от обеда, пили чай

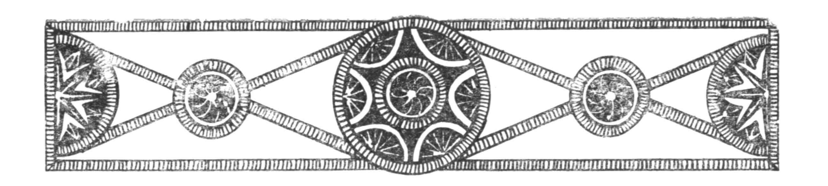
с молоком и хлебным. Ужинали после окончания работ, поэтому в различные часы; главной едой было что-либо молочное, кисель, ягоды.

Каждый за столом знает свое место. Перед каждым на столе миска и деревянная ложка. Мать, хозяйка, приносит из кладовой каравай хлеба и стоя нарезает ломти поперек каравая и раздает. «Ране хлебушко сижа не резали». Ребятам хочется получить краюшку, но никто не смеет заикнуться об этом. Мать помнит, кто вчера в полдник получал и чья теперь очередь получать ее. Уху, щи или губницу разливает, а кашу, творог мать раскладывает по мискам, соблюдая старшинство. Деревянный поднос с рыбой, из которой варилась уха, мать ставила как вторую перемену на середину стола. Каждому разрешалось «таскать» ее, но по порядку, без выбора, с краю. К каше и творогу подавалось молоко в крынках на двоих, его прихлебывали ложками. В посты молоко заменялось квасом.

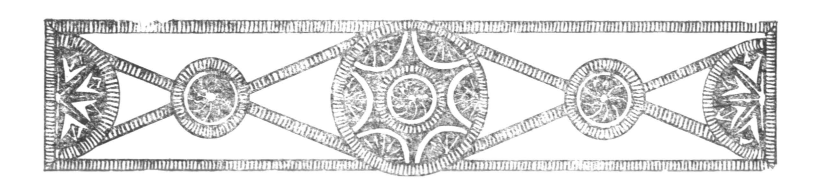
Никто не прикоснется к пище прежде, чем старший, дед или отец, не подаст к этому знак — постучит ложкой по краю миски или столешницы. Трапеза кончилась, старший снова постучал ложкой, можно вставать. Каждый вставал без слов; благодарственный поклон старшему — и можно заниматься своими делами. На столе не оставалось ни корочки, ни крошечки. Разговоры за столом среди детей не допускались.

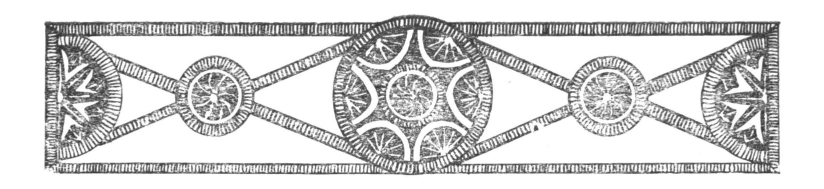
В праздники, в памятные и свадебные дни застолье справляли в горнице. Были и скатерти браные, и рушники, и многие перемены, и напитки разные. Справляли большое застолье и после окончания трудных и длительных работ на промысле. Тут уж был дым коромыслом, а иной раз и на кулачки шли.

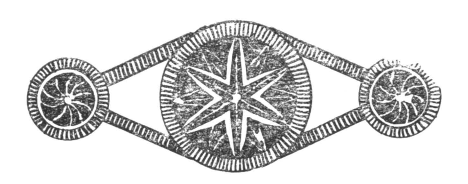
В 1942 году пришлось мне зимой заночевать в избе рыболовецкой бригады в Кеже. Бригада ловила сельдь. Там я вновь встретилась с поморским обычаем застолья. Уху по мискам разливал повар, дежурный рыбак, рыба была подана отдельно на деревянном подносе. Уху начинали хлебать и рыбу «таскать» по знаку бригадира, он стучал ложкой по краю столешницы. Сохранялись хорошие традиции Поморья: не кое-как, в спешке, насыщались, а чинно и истово трапезовали, и в этом было уважение к семье, к коллективу и к пище.



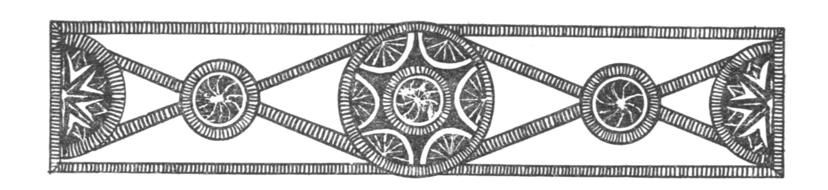
СОЛОВКИ











Много бытует о Соловках легенд. Приходилось слышать рассказы о происхождении Соловецких островов, о возведенных на них крепостных стенах, о событиях, которые вызвали к жизни интереснейшие предания, о богачествах монастырских: о казне, об утвари серебряной и золотой, о ликах-иконах и книгах редкостных. Передавались сказывания о делах людских, совершенных во славу соловецкую, о делах и повседневных — хозяйственных, и воинских — героических. Рассказывают о вольном и не вольном послушании монастырском, иной раз пожизненном, о заточенцах в узилищах и цепях. Вспоминают и о школах, где познавали ученики, ребята с Беломорья, свет разума и к делу приучались.

Легенды и предания возникали на протяжении всей долгой пятисотлетней истории соловецкой. Соловки были не последними участниками в делах крупных, государственного значения, вот и создавались рассказы и о крепостицах беломорских, о защите отеческой земли от врагов. Их помнят главным образом жители западного Беломорья. Поселения этого района в прошлом часто подвергались вражескому разорению «мурманами-шведами». В преданиях, сохранившихся на Онежском, Летнем и Терском берегах, упоминаются чаще местные дела соловецкие. Они бытуют (точнее, бытовали) там, где когда-то были многочисленные соловецкие хозяйства — деревни, выселки, солеварни, рыбные тони и другие различные промыслы. «Под рукой монастырской прежде все ходило», — слышала я в Варзуге. Да, рука была длин-

ная, хваткая и тяжелая, хозяйства ставила крепкие, с выгодой для себя. На всех одиннадцати берегах Беломорья были поселения, принадлежавшие Соловкам: в губах Бассейна — постоянные, а на северных его берегах — в Воронке и на мурманском берегу — временные станы, на периоды рыбного и сального промыслов. Немало доходов собирала с них соловецкая казна, немало продуктов поставляли они монастырю для его внутренних потребностей и для широкого торга. В то же время (и это не забывается) соловецкая казна служила государству, служила щедро в тяжелые его годины.

В районах скитов Амбурского, Пертозерского, Короды, Макарьевского сохранились предания о страдальцах соловецких, об узилищах и горении пустозерском, о связях Соловков с пустозерцами. Они пришли сюда, повидимому, через Мезень с Печоры. Дошли до наших дней предания и о связях с Доном, с Разиным. Сохранились интересные рассказы и на Зимнем берегу.

Почти все рассказы отражали достоверные события, в них не было сомнительных трещин, только пыль веков, иной раз довольно плотная, все же покрывала их, но и расставаться с нею как-то жаль, она дополнительный ведет рассказ о наслоившемся. Все же приходится отряхнуть ее, и тогда точно, ярко узнаешь ядро истины. Рассказы подтверждаются документами, хранящимися в архивах, а также памятниками природы, архитектурными, живописными, бытовыми. Благодарная, а в иных случаях осуждающая и даже ожесточенная память народная тоже хранила их. И, удивительно, не записанные, передаваемые из уст в уста, из поколения в поколение, рассказы эти подвергались лишь незначительным изменениям. Забывались некоторые детали, что-то уточнялось, приукрашивалось, но сохранялась основа — краткая, твердая, точно привязанная к месту и времени, а иногда и к участникам событий. Эта быль отвечала стремлению человека знать, отвечала его духовным запросам, уважительной любознательности к родному прошлому.

Легенды соловецкие тоже были не беспочвенны, но в них заключалась значительная доля сказочности, чаще простенькой, наивной и объяснимой. Они тоже были нужны, особенно в тот период, когда слово для большинства населения Беломорья заменяло книгу. Леген-

ды всегда влекут человека, их обычно и не проверяют. Разве кто-то скажет: «придумано же» или «надо же».

Соловецкие предания были распространены не только в Беломорье, но и далеко за его пределами: по всей Двине, на Онеге и на Печоре, на Мурмане, Украине, в Сибири и даже в Прибалтике. Понятна эта известность. Она свидетельствует и о широкой, разнообразной хозяйственной деятельности Соловецкого монастыря, и о значении крепости, и о народной заинтересованности, о народном участии во всех соловецких делах. «Поморскими руками здесь все улажено», — не раз услышишь в Беломорье.

Крупный Соловецкий архипелаг когда-то, не так уж и давно, казался, точнее, мысленно рисовался где-то в бесконечной дали от берегов матери-земли, затерянным среди бурного моря, громоздящихся льдов, сокрушающих ветров, беспощадной стужи. Там, на этих далеких островах, возвели нерушимый каменный град, ставший хранителем северных морских границ Московского государства. «То, видно, подвижники были». Они и воздвигали и оберегали.

В рассказах о Великой Отечественной войне тоже вспоминают: нашему советскому человеку большой подвиг по плечу. Это «по плечу» воспитано веками и неистребимо.

Много написано про Соловки, не следует повторяться. Дальше, вспоминая, я пишу о том, что, думается мне, является все же важным для более полного знакомства с замечательными островами и творениями, воздвигнутыми на них неутомимыми руками неуемного человека. Так, некоторые детали и уточнения. Давно все это я записывала, дивилась и до сих пор дивлюсь мощи духовной и физической людей, оставивших память на века и канувших незаметными в неизвестность. «Надо» — вот и трудились с охотой, а когда и по принуждению. И нигде не встретишь похвалы им или их похвальбы.

До нашего времени бытуют различные легенды о происхождении Соловецких островов и их географического наименования.

В 1937 году в экспедиции Центральной водорослевой лаборатории, обследовавшей запасы промысловых водорослей в Белом море, гребцом и драгировщиком работал

двадцатишестилетний Владимир Бронников из села Лопшеньга. Он был коренаст, широкоплеч, силен, зорок и немногословен. С ранних лет работал и на рыбном, и на зверобойном, и на водорослевом промыслах. Белое море знал — его приливы-отливы, ветры и капризы. По отзывам односельчан, «никакое дело из рук не ронит, начнет воротить, того и гляди рубаха на спины лопнет, пить не пьет, а выпивает, к случаю какому». Что ж, характеристика отличная. Он заслужил ее вполне. «Случаи» же выпадали частенько.

Хорошую легенду рассказал он однажды о происхождении и наименовании островов.

«По ранней весне шли поморы на зверобойку. Навязали юрков. К дому пошли. Затерли их льды. Нагородило их. Торосят, грохотят. Не знают мужики, как к земле выйти. С Летнего, видно, были. Опыт не тот, как у зимников. Туды-сюды. Толку нет. Потом глядят — чернеет. Далеконько только. Шли и по льду, и по воды. Дошли. Все целы. Такая радость была. Земля — остров. Ране они его не примечали. Не был он тут. Из нашего моря Белого встал для спасения людей. Имени ему не было. Назвали остров по малой птице. Соловьем зовут. В наших лесах не живет».

Так закончил Владимир, помолчал, а потом добавил: «На картах они теперь Соловецкие. Поморское прозвание Соловец ране карт. Монахов тоже соловянами прозывали. Все по птице. Сказ мой твердый. От дедов идет».

Краткий вариант этой старинной легенды я слышала еще только один раз, от смотрителя Жижгинского маяка А. Ратманова.

Летом 1951 года в Онежском заливе на острове Горелка был стан рыбаков из Колежмы. Ловили сельдь. Здесь же, в рыбачьей избе, обосновалась наша экспедиция, которая обследовала на острове места произрастания анфельции. Как-то выдался погодный день, штормовой, на море не выходили. Занялись кто делами, кто разговорами. Каждый сказал свое слово о Соловецких островах. Они соединены мною в целое.

— Многое множество островов на Белом море, а Соловецкие, особо Большой, самые приметные. Родился Большой по иной причине, не как прочие. Острова в Кандалухе и в Онежской обломаны от материнских берегов. Рассказывают, наползали льды издалеча, берега

ломали. Остались обломы лежать на дне. Тяжестью своей они у дна держатся. Большой Соловецкий рожон самим морем Белым, из нутра его, он его отросль, пуп Белого моря неразрывный. За ним и другие Соловецкие поднялись: Анзер, Муксалмы, Березовый, Печак, Заяцкие, Парусницы, Топы. Все посередке моря, кольцом вокруг Большого. Видать их изо всех четырех губ морских — Мезенской, Двинской, Онежской, Кандалакшской и из самого Горла.

— Не только видать Соловки отовсюль, но и слыхать о них по всем берегам нашего моря. Где только не хозяйничала сила соловецкая. Да и место это свято. Человек идет и идет на Соловки. Взглянуть на подвиг человеческий — на крепость и хозяйство соловецкие.

— Подход к островам разгадать еще надо. Окружены они грядами каменными, подводными. У других островов беломорских такой охраны нет. Сторожко хранят. Нам-то гряды известны, знаем их и в тишь, и в шторм.

— Главные они, острова эти, и море их не рушит. Воды морские вокруг их ходят, торосы надвигаются, дно утюжат, особо у севера Анзерского, а берега не трогают. Так, разве нанесет переборы, гряды мелкого камня, а другой шторм волной их размечет. Иные камни останутся, они тоже защита.

— Твердь острова эти, не то что Моржовец. Тот берега меняет, как и Хедостров. У других берега тоже переменчивы бывают. Пески намывает, а то и сносит. Каменный берег соловецкий прочно стоит.

— На островах Соловецких все нерушимо, перемен нет и у берегов, и у подходов. Где сувои крутили в давние времена, крутят они и теперь. Новые кошки и нилаксы не образуются. Это тебе не мезенские кошки, коварницы текучие.

— Истинно это твердь земная на нашем море, верно сказано. Давно крестовые знаки поставлены для подхода в гавань к Большому, стоят они без переносу, надобности нет менять. Все правильно обозначают. На деле проверено.

— Без проверки в море не ходи, подарки неприятные могут получиться. У соловян все проверено с давних пор. Точно обозначено.

И вдруг раздался ломающийся мальчишеский голос поклонника Петра Великого Володи Попова, тринадца-

тилетнего капитана нашей экспедиционной шлюпки, вернее небольшого карбаска: «Любые это островки».

Да, и любые, и любопытные. Итог был подведен.

В XVI веке подходы к Большому Соловецкому острову были обозначены громадными, массивными четырехконечными крестами высотой до пяти метров, навигационными знаками, по-современному. Для указания стрежа, или фарватера, по которому судно может пройти без опасения сесть на камень, вдоль него были засыпаны «кучи великие и высокие каменные», в каждую был врыт бревенчатый сруб, верхние ряды его бревен выступали над камнями, в сруб опускалось основание креста, и он тоже наполнялся камнями доверху. Все было устойчиво-прочно. Кресты «великие и высокие» стояли веками, за сохранностью их и починкой следил монах-смотритель. Вокруг Соловецких островов крестов было когда-то более десятка. Их возвели в 1548—1566 годах. Долго сохранялись четыре старых креста, видела их последний раз в 1961 году.

В губе Сосновой на Крестовых островах в 1958 году тоже еще стояли два старых могучих креста, по-видимому, памятных, с датой *1786 год,* а на берегах губы Новой Сосновой и близ нее стояло три, их перекладины были ориентированы с ночи на полдень. Остались ли?

Поражало и запоминалось — огромные бревенчатые кресты среди бескрайнего моря далеко от берегов. Кто-то положил свой труд, указал путь моряку, рыбаку. Забота это сердечная о жизни друга-товарища.

О происхождении географического наименования Соловецких островов широко была распространена легенда, рассказанная М. Кологриевым, помором из Неноксы. Слышала я ее и на Мезени, и на Онеге, и на Терском: «Соловецкими, или Соловками, прозвали острова по соли. Много солеварен было у Соловецкой обители. Соль варили трудники, послушники под надзором старца-солевара. И со стороны — из Солзы, из Уны — в покрут брали хороших солеваров, знающих. Варили соль и из морской воды, а лучшая вываривалась из воды источников. У нас в Неноксе монастырские варницы были: Глубокая, Никольская, Яковлевская, Поджаровная и еще другие, все по именам. Потом они запустели, как взяли их в казну. Монастырь покупал соль и на сторо-

не: у keretчан, на Терском. Самые большие варницы — ненокские Варвариха и Скоморошица. Хороший источник был, брали его воду через колодези. Возили соль на Двину — до Устюга, на Вологду, по Онеге до Каргополя. Суда особые монастырь строил под соль: насады, дощаники и каюки. Дальше она шла на Москву. Такая и поговорка была: «Москва веками соловецкой солью жила». Да и весь беломорский край нашей солью жил. Наваривали ее прежде по варницам разных монастырей и по крестьянским более 400 тысяч пудов в год. Больше всех варили соловяне. Лучше же нашей соли нигде не было. Ненокской солью рыбу и на Мурмане солили. Там морская вода хоть и солонее беломорской, а не та соль вываривалась: горчит, ржавит рыбу. Нонешняя привозная соль тоже неровня нашей, прежней.

Вот за хорошую соль острова и прозвали Соловецкими».

Легенды эти интересны и сами по себе: есть в них характерные черты удивительного поморского фольклора, свое восхищение которым выразишь поморским же словом — «надо же!». Кроме того, они говорят нам о каких-то деталях географии, истории и экономики Беломорья, а главное — рассказывают о человеке, о том, как он представляет себе мир, в котором живет и который осваивает, не жалея живота своего, то есть говорят о характере помора.

Топонимика Беломорья до настоящего времени не получила заслуженного внимания, а в ней отразилась какая-то часть его географии и истории. Раскрытие топонимики Соловецких островов также дало бы новые знания о них.

Примечательно, что в Беломорье достоинства и красоту других островов часто оценивают сравнительно с островами Соловецкими. Последние являются как бы эталоном в этой оценке.

Соловецким островам вровень будет, пожалуй, только Кондостров. Многочисленны острова вкруг него: Угморин, Абакумиха, Вороньи, Кузьмины, Волчьи, Хлебная. Кольцо этих островов выглядит наподобие Соловецкого окружения. Берега — тоже твердь, есть и

скала, и камень, и песок. Весь Кондостровский архипелаг с конца XVIII века был приписан к Соловецкому монастырю. Руководители монастырские добились получения его, понимая, какие выгоды сулит это приобретение. Среди населения Прионежья бытовало, а может, сохранилось и теперь его наименование «Кондостровские Соловки».

Прибрежные воды Соловков были богаты рыбой, особенно сельдью. Ихтиологи выделяют особую ее разновидность — «соловецкую». Славилась эта сельдь величиной, жирностью, а кроме того, и посолом соловецким. Подходит сельдь почти ко всем берегам Соловков, но наибольшие косяки были в Анзерской салме, у восточного берега Большого Соловецкого, а также у берегов Анзерского острова. Дальше сельдь шла в Онежский залив, на нерест.

На Соловецком острове обработку улова и посол сельди производили в поселке Реболда, а на Анзерском — в поселках губ Троицкой и Кирилловой. Сохранились описания монастырской технологии особого посола сельди и методов ее хранения. Сохранились в губе Кирилловой и на острове Большом Заяцком и особые погреба — хранилища для годового запаса рыбы. Внутри они были облицованы лещадью. Видела их остатки еще в 1958 году.

Были известны четыре сорта соленой соловецкой сельди:

1) архимандричья — особо крупная, посоленная с пряностями — с кориандром и богородицкой травой. Десятифунтовый бочоночек такой сельди — подарок почетным гостям и щедрым вкладчикам;

2) городовая — свежепросольная для продажи;

3) монастырская — для внутреннего обихода на год, крепкосоленая;

4) богомольничья — для трапезной приезжих богомольцев, свежепросольная, мелкая и помятая.

Масса островков, бакланов, корг, поливух раскинулась вокруг основных, крупных островов Соловецкого архипелага. Разнообразен характер его берегов — то суровые валунные, то каменистые, галечные, то пляжные и заболоченные. Они напоминают нам о работе льдов, когда-то заполнявших всю котловину моря.

Белое море — часть Мирового океана, его воды и берега тоже рассказывают нам что-то о нем.

Флора и фауна островов тоже своеобразна. Здесь отсутствуют многие виды растений, обычные для материка на тех же широтах. На островах для них недостаточно плодородной почвы, преобладают камень-твердь, песчаники, торфяники и болота. Но на этой тверди растет соловецкий лес, и хвойные природные леса — основной ландшафт островов. Лес здесь в прошлом был заповедным — учитывали, как трудно ему расти и возобновляться на островах, хотя потребность в древесине для строительства, для обжига кирпича и керамики была большая. По старым хозяйственным книгам монастыря известно, что строительный лес заготовляли по реке Онеге, близ Кеми и Сумского посада. Для ряжей дока и для гонта на здания лиственницу рубили на Кондострове и Угморине, уголь жгли близ Золотицы, бересту «драли» с берез при заготовке извести на двинских каменоломнях. Свой, соловецкий, лес «не сводили». Брали только дровенник, очищали лес от мешающих росту перестойных деревьев, мелочи и захламления. В ряде мест проводили дренаж.

На островах раньше, чем где-либо на Европейском Севере, были созданы культурные ландшафты: осушенные луга, посадки лиственницы, кедров, рябины. В прошлом веке здесь делали пробные посадки фруктовых деревьев и ягодников. Были акклиматизированы многие декоративные древесные, кустарниковые и травянистые растения. Саженцы и семена привозили из-за Урала, с Алтая и даже с Тибета.

Видовой состав животных, птиц и насекомых на островах ограничен. Здесь отсутствуют пушные звери, хищники и рептилии, за исключением ящериц. Не щебечут птицы в лесах, но на побережьях многочисленны разнообразные представители отряда чаек. В недалеком прошлом острова славились токами глухарей, в монастыре был запрещен любой вид охоты; теперь эта древнейшая, мощная, сумрачная птица, самозабвенно токующая по веснам, встречается лишь изредка, нынешние охотники перестарались, выбили ее. Редко здесь встретишь представителей чешуекрылых (бабочек). Травостой на осушенных лугах был не беден медоносами,

на Горках ставили ульи, но со временем пчеловодство, удачно начатое, забросили. Мед, как «особо целебный», прежде продавали в маленьких баночках богомольцам.

При подходе с моря к западному берегу Соловецкого острова уже за несколько километров видишь прежде всего Соловецкую крепость. Она воздвигнута (про нее не скажешь построена) на берегу морской гавани и высится на открытом оголенном пригорке, простая, суровая и мощная. Но крепость не подавляет человека, колокольни, главы возвышают, приподнимают ее. Она стремится ввысь. Сооружение, необычное для Беломорья и по размерам, и по форме, и по строительному материалу. Это истинно крепость, она и в наши дни, пострадавшая и от времени, и от непогод, и от неразумных деяний человека, напоминает о своей силе и важном назначении в течение многовекового прошлого. Напоминает, точнее, свидетельствует о тех, кто и как трудился в течение столетий для защиты родного Беломорья, морских ворот Московского государства, трудился не только над возведением крепости, но и одновременно над изобретением и созданием технического оснащения, которое позволило воплотить замысел строителей на острове, отрезанном от материковых берегов морем и семь зимних месяцев окруженном льдами. Тяжел был этот труд. Значение соловецкой обители как памятника истории, культуры, архитектуры не перечеркнешь. Глубокие проложены следы соловецкие в Беломорье.

На севере Двинской земли было немало монастырей — современников Соловецкому, окруженных высокими глухими стенами с башнями, но ни один из них не наводит на мысль о том, что это укрепление, защита. Нет, это обители для уединения. У Соловецкого монастыря была другая главная задача.

Крепость — крепостная стена и шесть башен — была возведена в 1584—1594 годах, но по некоторым документам Соловецкого архива, строительство длилось с 1584 по 1596 год. Сооружалась крепость по указу царя Федора Ивановича «для защиты от нападения немецких и всяких воинских людей». Основные средства и строителей для ее возведения дал монастырь, но и подмога государства была значительной. Стройка рассматривалась как государственная.

Кто же эти строители, которые положили свои силы и

умение, чтобы за такой короткий срок создать этот поражающий сердце и разум памятник труду, знаниям человека и его радению об Отечестве?

Вспоминают только одно имя — соловецкого постриженика монаха Трифона, помора из Неноксы, которая стоит на Летнем берегу Двинского залива. Ненокса старше Соловецкого монастыря, она упоминается в уставной грамоте 1398 года великого князя Василия Дмитриевича. В документе говорилось, что этот посад несет государственные тяготы, платит обложения. Монастырь хозяйничал на солеварнях в Неноксе уже с начала шестнадцатого века, имел здесь на супесчаной почве и свои репища и огородцы. Связи монастыря и Неноксы были давние и крепкие, жизненные интересы вызвали и поддерживали их. В начале пятнадцатого века (1419) Ненокса была разорена «мурманами», как и многие другие двинские и беломорские поселения. Вставала из пепла, отстраивалась долго своими силами и помнила о враге тоже долго, утраты были велики. Поэтому не вызывает удивления, что именно ненокшанин Трифон Кологриев создал чертеж и росписи крепости и руководил ее стройкой. О времени поступления его в монастырь неизвестно. Был он грамотен, наблюдал за солеварнями в Луде на Летнем берегу и в Летнерецком — на Поморском. По монастырским делам бывал в Холмогорах и Новгороде. Но когда и где познал строительное дело — пока еще не установлено. Возможно, в Новгороде, где было чему и у кого поучиться.

Работали же рук не покладая годами послушники монастырские и сотни безвестных добровольных трудников, пришедших кто с тем, чтобы положить и свой камень во славу господню и для защиты родного края, а кто и в поисках крова избного и прокорма; возможно, были и надеявшиеся на то, что работа эта зачтется когда-то и где-то. К работе были привлечены и крестьяне монастырских деревень, шли они на строительство неохотно, оставляя свое хозяйство, которое в Беломорье требует большого труда и неусыпной заботы.

Но работа спорилась, все знали о соседях, врагах-завистниках, испытали не раз их набеги, несущие разорение, пожары и смерть, и надеялись, что монастырский град будет защитой крепкой и верной. Рассказы об этом сохранились в Беломорье до наших дней: «Крепость Соловецкая жилы тянет, но и защита».

До сооружения крепости у монастыря уже был опыт каменного строительства. В 1552—1557 годах были возведены Успенский собор, трапезная с часовой колокольней и келарская «в одной стопе со сводами на погребах», то есть на подклете, в котором были различные хозяйственные помещения. Эту большую сложную стройку вели новгородские зодчие. До нас дошли их имена, это мастера Игнатий Салка и Столыпа.

В те же годы, можно предполагать, строилась и старая трехглавая колокольня, которая за ветхостью была частично разобрана, позднее, в 1766 году, на ее основании и части стен была сложена новая двухъярусная одноглавая колокольня. Работали на стройке собора соловецкие каменщики. Возможно, опыт этих строителей, оставшихся в монастыре, был использован при сооружении крепости.

Москва была заинтересована в строительстве и скорейшем его окончании. В 1594 году в монастырь из Москвы прибыл воевода Иван Яхонтов «с прочими начальственными особами» для осмотра крепости и привлечения крестьян из монастырских волостей для завершения строительства. Крепость воздвигли. Мы знаем ее, удивляемся ее мощи и стойкости. Она описана и историками, и архитекторами, и краеведами. Не будем повторяться.

Строительных материалов для сооружения крепости требовалось громадное количество. Строители изыскивали их на месте, основным был «дикий камень». Вспомним о ледниках, когда-то опустившихся с гренландского щита и оставивших в котловине Белого моря моренные отложения: луды, «бараньи лбы», корги, валуны, камни. Камень брали на берегах Соловецкого и Заяцких островов, он был под рукой. Но с Заяцких камень надо было доставлять морем — летом на лодьях, зимой по льду через Печаковскую салму. Сколько раз проторили эту дорожку неутомимые, неукротимые в труде поморы. Наиболее крупные камни использовали для цоколя. Мелкий камень — арешник на берегах Соловецких островов встречается редко, поэтому щебенку «били молотом с руки». Кирпич расходовался экономно — для верхней части стен и выкладки амбразур; обширные кирпичные выкладки, которые мы видим в стенах, — позднего происхождения, они выполнены при редких ремонтах крепости.





Для производства кирпича построили завод недалеко от монастыря, на Вараке, близ глиняных карьеров. Там были вырыты два рва, в которых не один год выдерживали взятую из карьера глину. «Поветряет глина — лучше кирпич стоит». Особо подготавливали глину для выработки фасонного кирпича и посуды. В период стройки крепости формовали и обжигали кирпич и на материке, на Лямицком берегу, близ местности, называемой «Лопатка». На глиномялках работали лошади. Кирпич изготовляли различных размеров, «большой и малой руки». «Звонкий кирпич был, щелконешь его пальцами, он отзывается».

Белый камень (плиты известняка — лещади) брали на Двине в Орлецах, в Ступине и Панилове, где были большие запасы строительного известняка. Лещадь применяли для настила полов, ступеней лестниц, облицовки погребов, в которых хранили рыбу. Белым камнем были выложены стены каналов кремля, бассейна портомойни (прачечной), а также дорожки во дворе кремля. Тесали лещадь на месте ее заготовок, а на стройке подгоняли пластины-плиты одна к другой. На тех же карьерах заготовляли негашеную известь, которую, как и лещадь, доставляли в Соловки на лодьях.

Путь, который надо было преодолеть от карьеров до Соловков, составлял 420 километров: сто двадцать рекой Двиной и триста Белым морем. Все это расстояние поморы шли на веслах и под парусом. На лодье было обычно пять, редко семь поморов моряков. При благоприятной погоде шли не менее двадцати дней, но на Белом море часто штормило. Шторм, особенно осенью, бывал «разбойным», не раз встречается в старых документах упоминание о разбойных, то есть разбитых морем судах. В 1561 году разметало и разбило на море пятнадцать груженных известью лодий. Груз был немалый. Грузоподъемность каждой лодьи — от 6 до 12 тысяч пудов, пятнадцать лодий поднимали, примерно от 1,5 до 3 тысяч тонн извести. Остался тогда монастырь на год без нового запаса лещади и извести — ходили за ними на Двину один раз в год. Море-морюшко так определило.

Красный камень — гранит заготовляли в Онежском заливе на островах Бережной и Голомянный. Его применяли для лестничных ступеней, площадок, колонн. Проход под Святыми воротами и его крыльцо выстланы плитами этого камня. Тесали камень соловяне.

О районах заготовок строительной древесины упоминалось выше, следует только добавить, что с рек Онеги, Кеми, от Сумского посада и с Терского берега ее пригоняли по морю плотами. Для гонта и на церковные купола заготовляли еще и осину. Вырезные дощечки из осины — лемех — на купола дополнительно обрабатывали, чтобы они не коробились от дождей, снегов и приобрели серебристую окраску. Купола, крытые в чешую этими дощечками, мягко сияли. Легкая тень выделяла каждую чешуйку. Вспоминаю рассказ коренного помора Т. П. Бронникова, секретаря партийной организации водорослевого завода:

«Все по морю мы живем, красивое оно явление природы и полезное человеку. Дорога по морям везде открыта. Хоть бы в Америку или Индию идти, преград тебе нет. Море и кормит тебя, и красоты в нем повидаешь. Возьмешь, бывало, рыбину семгу из сети, затихнет она, уложишь, как полагается, чтобы не измялась. Смотришь, чешуя-то блестит, сияние какое-то у нее, а замирает рыба — и чешуя замолкает, но не меркнет совсем-то». Слушаешь его и видишь мягкое сияние чешуйчатых куполов.

Для возведения крепости и других строек, для промыслов и сельского хозяйства Соловкам требовался вспомогательный строительный материал: гвозди, скобы, связи и пр. Были необходимы и различные металлические орудия производства: топоры, молоты, пешни, лопаты, косы и многое другое. Следовательно, Соловкам необходимо было железо. Его получали тремя путями: это, во-первых, вклады различных жертвователей, второй путь — покупка на торжках в Каргополе юхтозерского уклада (железо в брусьях), «прутьев и полиц цренных»* (за укладом ходили также в Лопскую пятину, на место его добычи у Юхтозера), а третий путь — добыча железа и ковка всего необходимого в своей, монастырской, Железной пустыни или Пустыньке близ Сумского острога. Эту землю еще в XV веке передала Соловкам Марфа Борецкая. Многие орудия производства все же приходилось покупать на торжках в Вологде, Устюге, Холмогорах. Прикупались и вспомогательные материалы — как для стройки, так и для повседневных

---

* Црен (чрен) — большая металлическая емкость для выварки соли.

хозяйственных надобностей, для строителей. Особенно много закупалось «гвоздья» — однотесного, двоетесного, черного луженого и сапожного, а также скоб судовых и сапожных. Сотни пар сапог на железных скобах ежегодно шили чеботари соловецкие для надобности «на трудностях морских и строительных». Верха сапожные шили из кож морского зверя. Кроме того, монастырь в XVI—XVII веках закупал в Вологде в большом количестве кожи дубленые и сыромятные, опойку, юфть.

С организацией своей кузни и с изготовлением всей кузнечной снасти в Суме значительно увеличилась потребность Соловков в железе. Его «приискивали». Вторая кузня была поставлена в конце XVI века на северном берегу Святого озера, при ней была и чугунолитейная мастерская. Начав с одного, кузню к XIX веку расширили до восьми горнов. Потребности монастырского хозяйства в железных изделиях постепенно удовлетворялись. Было начато производство мелочи: оконных и дверных решеток, печных дверок, замков, подсвечников, паникадил, фонарей. «Все делано для своих нужд, своими руками». Делано отлично, на века, по совести. Не забывали и о красоте изделия.

Как же были отмечены все те, кто и строил крепость, и изготовлял все необходимое для этих работ? Тысячи имен не записаны, они забыты. Известно то, что это были поморы-крестьяне Беломорья. Соловки воздали особое вознаграждение только зодчему Трифону. Ему было выдано пятьдесят рублей, которые он завещал монастырю. После кончины имя Трифона было за труды внесено для поминовения «в Синодик без выписки, доколе святая обитель стоит». Поминовение происходило ежедневно в течение трехсот двадцати лет. Четыре раза слушала я это поминовение. Оно провозглашалось с амвона и сопровождалось хором. Церемония производила большое впечатление на присутствующих и вызывала много разговоров. Тут же в церкви они и начинались.

— Честь-то по заслугам.

— Слово явственно сказано, с амвона.

— Давняя весть о Трифоне, и у нас на Мезени слыхали, и дальше.

— Не с Мезени он, у нас в Неноксе много Кологриевых и Кологривовых, все себя Трифону родней считают. Строители они тоже были; Михаил Кологриев

вспоминал, их отцы-деды в Пертоминск ходили строить. Тоже стены возводили.

— Застенки-то к чему настроил? Негоже.

— Кладовки и погреба по его назначению это были. Потом начальство в них сажать заключенных стало. Ненокшанин он, справедливый был. Никого не обижал. Мы застенков не признаем.

— Память Трифон заслужил и с застенками. Вспоминающим его с амвона тоже похвала. Спущу-ка им в кружку еще золотинку.

— Мошна толста, и не одну спустить можешь за застенки, тебе они пригодны.

— Чужую мошну не подсчитывай, сам-то что спустил или так, задарма, кормишься? Застенками не кори, пригодятся.

— Спустил от своих достатков.

— Велики ли твои достатки?

— А три копейки, они достались потруднее твоих золотинок. В кружку ты не золотинку спустишь, а пятиалтынный, а то и пятак. Не видит никто, хвалишься.

Вмешался старый монах, стоявший у свечного ящика. «Выходите на волю. Сказано: всякое даяние благо».

На воле словесная схватка разгорелась, присоединились проходящие мимо спорщиков три женщины, досталось тут владельцу золотинок. Слов хлестких, прямо в глаза, сыпалось немало. Прикончил спор тот же монах, повысил голос: «Все из стен выходите. За шум из монастыря вывезем». Разошлись.

Много в Соловецкой крепости каменных производственных, хозяйственных, жилых (келейных) и церковных зданий, а печи видишь только в хлебопекарне под трапезной, на кухне, в нижних этажах келейных, в банях и в деревянных домах. Тепло же во всех помещениях. Как отоплялись эти громадные здания, растянувшиеся на километры?

В начале июня 1941 года была я на Соловках, организовывала заготовку анфельции. Познакомилась тогда с Алексеем Тимофеевичем Агафоновым, знатоком всех секретов соловецкой отопительной системы. Он рассказал, что живет в Соловках с детства, мать отдала его в монастырь по обещанию, здесь он научился грамоте и своему мастерству «по отоплению»; был послушником, монахом, давно оставил это, а теперь уже при другом деле. Дело это — охрана старого отопления, забота о

нем, поэтому он и остался на Соловках новую службу нести. Об отоплении говорил: «Старина великая и разум великий создали его, а сил сколько положено на труд. Польза от него большая, не оно бы, так дров не напасти везде тепло поддержать. Отойду от него — погубят». Не ушел на покой старый теплотехник.

Еще два раза встречалась я с Алексеем Тимофеевичем, в 1969 и 1972 годах ездила в Пушлахту, его родную деревню. Эта старинная промысловая деревня упоминается в соловецких документах конца XVI века. Расположена в вершине Пушлахотской губы, глубоко врезающейся в Лямицкий берег. Место выбрано удачно, деревня защищена от ветров и бурь. По-видимому, она разрасталась медленно, делится на ясно очерченные территориальные участки с собственными наименованиями. Это Залывье, Заручье, Наволок, Варвариха.

Сидели мы в избе Агафонова, чаевничали, а я все посматривала на глинобитную русскую печь на двухъярусном подпечье, с затейливым верхом для дымохода. Руки мастера сложили ее и обрядили, глаз поморский не подвел — линии, связи, переходы подсказаны плавно текущими берегами морскими. Такая печь годится и для украшения избы, и для обихода повседневного, и для уюта-тепла домашнего, семейного.

Про особенности отопительной системы в Соловках я слыхала и читала еще в 1914 году, когда работала в монастырском архиве. Рассказы Алексея Тимофеевича, которые слышала от него в разные годы, я свела воедино.

«В Соловках были три основных печи: одна в пекарне — в подклете под трапезной, вторая в подклете под папертью соборов (еще точнее — под полом подклета в земле, к ней надо спускаться по лесенке, ступеней девять); третья, для наместнического корпуса и других палат, под землей. От каждой печи идут трубы из глины, обожженные, на кирпичном заводе в особой печи обжигали. Глину тоже особо готовили. Выбирали трубы только те, которые звенят. Из пекаренной печи трубы с теплом шли в трапезную — внутрь столба до потолка — и дальше к стенам, куда они были замурованы. От других печей такие трубы шли сразу в стены. Везде были заложены душники, дымоходы, заслоны, все закрывались медными дверцами. Приходилось мне ремонтировать, потому и знаю. В печь дрова закладывали раз в неделю,

дверцы закрывались наплотно, поддувало было. Следили за печами не один раз на день, но не открывали их». Последняя печь, от которой были проложены в стенах трубы со многими поворотами, была сложена в 1828 году под алтарем Успенской церкви для обогрева ее.

А. Т. Агафонов ведал этой системой более сорока лет, оставил схемы расположения труб каждой печи, пересчитал все заслонки, отметил их расположение.

Когда поднялся вопрос о ремонте соловецких зданий организациями заповедника и турбазы, Алексей Тимофеевич приехал в Архангельск, хлопотал о том, чтобы «не рушили отопления старого». Говорил об этом и в отделе культуры облисполкома, и в обществе охраны памятников, и в областном краеведческом музее. Он предлагал свою помощь безвозмездно, рассказал бы все. Никто не отозвался, не помог ценителю, почитателю и охранителю уникальной старины, труда наших предков, их великого замысла и рукотворения. Был он в Соловках у тогдашнего директора Варакина, тот даже посмеялся: «Был монахом, а теперь решил стать архитектором». Алексей Тимофеевич уехал в Пушлахту «с грузом на сердце», работал печником в деревнях. Скончался пять лет назад, было ему около столетия. Всех секретов соловецкого отопления так мы и не узнали. Вспомним отопление Коломенского: печи в подклетах, обогрев палат муравлеными* трубами, идущими в стенах от этих печей. Систему восстанавливают. А на Соловках? Соловецкая система древнее и грандиознее.

Примечательно в Соловецкой крепости водное хозяйство. Центром водоснабжения было искусственное Святое (Трудовое) озеро, вырытое в XVI веке вручную, лопатами. Озеро лежит против южной стены кремля и отделено от нее сравнительно неширокой дорогой. По открытому Обводному каналу в него поступали воды из пятидесяти двух естественных озер, разбросанных по северной части острова, они были соединены между собой искусственными каналами. Ток воды в Обводном канале был непрерывный, его ежегодно чистили. На канале были построены кузни, точильная, слесарная и столярная мастерские. Все нехитрые самодельные механизмы при-

---

* Муравленый — облицованный муравою. Применялась мурава также при изготовлении глиняной посуды, изразцов.

водила в действие вода. Механизмы детально описаны. Изобрели их местные «работные люди».

Из Святого озера, уровень вод которого на восемь метров выше уровня моря, были прорыты три канала. Два проведены на территорию кремля, их старые соловецкие названия Питьевой и Мельничный. Оба были подземные. По Питьевому каналу — он еще назывался Никольским, так как проходил под стеной кремля недалеко от Никольской башни — вода поступала в колодец на площади кремля, из него по деревянным трубам ручными насосами воду поднимали в хлебопекарню, поварню, квасоварню, трапезную. Был ли проведен канал, выводящий воду из стен кремля, не установлено. О нем бытовали рассказы, но документально и фактически они еще не подтверждены. Мельничный, или Архангельский, канал проходил под стеной кремля близ Архангельской башни. Вода по этому каналу поступала через колодец в здание мельницы, приводила в движение мукомольные жернова, ступы крупорушки, валы сукновальни и дальше по каналу поступала в портомойню. Из портомойни канал шел под стену, примыкающую к Прядиленной башне, к бассейну, в который сливалась вода, из него другим каналом выводилась в море.

Третий канал — Вешняк — служил для сбора из озера и сброса в море излишних паводковых вод. Эти сбросы регулировали уровень вод озера и дока. Канал был открытый, его только покрывал деревянный съемный настил. Работу его всегда можно было отрегулировать.

Наблюдение за работой каналов велось через смотровые колодцы и шлюзы. На озере была установлена стела с отметками предельно допустимых нижнего и верхнего уровней его вод. Вся система каналов была создана в XVI веке, без применения механизации, руками беломорцев. Вода — великая, грозная сила, она может вырваться из границ, определенных ей человеком. Размывы и разрушения тогда неизбежны. Поэтому за каналами, режимом их работы и за озером прежде так внимательно наблюдали, берегли их от разрушения и загрязнения. Пример для заповедника такая охрана.

Население Соловков состояло из постоянных и временных жителей. Число постоянных — монашествую-

щих — колебалось от 30 (в первые годы существования монастыря) до 200—250 человек (в последние его годы). К постоянному населению относились и послушники, готовящиеся к пострижению в монахи, в иные годы их было до 40—50 человек. До пострига оставались не все.

Соловецкое хозяйство должно было обеспечить жильем и одеждой, прокормить постоянное население не только монастыря, но и всех его станов и становищ, а также население временное — главную рабочую силу Соловецкой обители. Эти работники получили выразительное наименование «трудники». Добровольно явившиеся в Соловки на срок или «до погребения», именно они исполняли по договоренности, обычно устной, все основные работы в сельском хозяйстве, в строительстве, на различных промыслах. К временному населению относились «работные казачки, которые на монастырь всякое поделье труждаются», и «поле́тники» — сезонники на сельскохозяйственных работах и рыбном промысле, обычно береговом. Полетники получали и денежную плату.

Трудились на монастырь и дети. Беломорское население охотно отдавало своих сыновей в возрасте от 8 до 12 лет в монастырь на послушание на срок от одного до пяти лет. Их называли «годовики». Ребят обеспечивали всем небходимым, обязательно обучали грамоте и по усмотрению монастырского руководства приучали к той или иной специальности. Работали они «взрослому мужику впору».

Летом, в период навигации, в монастырь устремлялись сотни богомольцев, которые тоже становились иждивенцами обители. Им разрешалось жить 3—5 дней без оплаты за жилье и питание.

На Соловках было три гостиницы: одна каменная, две деревянные. Распределял прибывших по гостиницам монах-гостинщик. Глаз у него был наметан, сходящих с корабельного трапа по одежке встречал. Обстановка в гостиницах одинаковая, но в каменной поселяли в комнату по 2—3 человека, а в деревянные — по 10, а то 15 человек.

На каждом этаже гостиницы и в каждой трапезной (их было три) висела на стене объемистая кружка-копилка и рядом с нею в простенькой рамочке листок — «Краткое наставление посещающим обитель», в кото-

ром вежливо напоминалось о том, что «все виды услуг» — питание, жилье предоставляются как «благодеяние за труд, благочестие и за возблагодарение богомольцев монастырю».

Много денег скапливалось за эти благодеяния. Кружки-копилки каждый вечер вскрывал казначей, и медяки, серебрушки, а то и золотинки тяжелым дождем лились в кожаный мешок, который держали и носили за казначеем два послушника.

Множество богомольцев сбегалось посмотреть на это диво — денежный поток. Много было и разговоров:

— Глянь, глянь, рублевик, а там и второй.

— Что рублевик, золотинка не одна проскочила.

— А все больше медяшечки. Они-то и есть трудовые.

— Из трудовых при аккуратности можно и золотинку накопить.

— Ну как накопил бы я, телку либо жеребчика купил. Ишь, много их тут и без моей.

— Разный люд приходит сюда, есть поморы богатеи, им что золотинку отдать. Накопят еще не одну. А дума будет — пожертвовал, вот возблагодарение мне пришло!

Каждый покидающий Соловки мог при отъезде получить по билету два фунта ржаного хлеба бесплатно или полфунта сухарей. Впрочем, рядом находилась кружка-копилка... Кроме того, в лавочке при хлебопекарне можно было купить и черный и белый хлеб в неограниченном количестве.

Вся эта масса хлеба — более тонны ежедневно в летнее время — выпекалась в огромной, необычно оборудованной хлебопекарне. Прежде всего поражала своими размерами квашня из деревянных плах, хорошо вытесанных «в гладь». Ее охватывали семь рядов обручей из ивовых широких и толстых полос, покрытых корой. Диаметр квашни — три аршина два вершка (2,25 метра). В центре ее была установлена вращающаяся мутовка, к которой прочно прикреплялись два деревянных «мутовальных весла» — одно против другого. Длина каждого равнялась радиусу квашни. Весла посредством системы ремней соединялись с упряжью «хлебенной» лошади белой масти, их было две. Замеренные количества воды и муки поступали в квашню по желобам. Пекарь вли-

вал закваску и всыпал соль, равномерно распределяя их по поверхности слоя муки. Как только квашня была заполнена, лошадей, покрытых холщовыми попонами, с колпаками на голове, брали под уздцы годовики и начинали медленно водить вокруг квашни. Лошади тянули за собой весла, мутовка приходила в круговое движение, перемешивала муку с водой. Начинался замес теста. Он продолжался полтора часа. Затем тесто оставляли «выхаживать». Посмотреть на механизированную квашню и наряд лошадей собиралось много зрителей.

В пекарне было две печи. В меньшую одновременно сажали 110 хлебов, в большую — 146. Выпекали их в железных четырехугольных удлиненных формах с высокими бортами.

Во второй пекарне — просфорной ежедневно выпекали до 200 килограммов белого хлеба и 3000 просфор. Белый хлеб пекли в таких же формах, как и черный, а просфоры разделывали каждую отдельно и на верхнюю ее половину ставили штамп Соловков. Часть просфор, не более 200 штук, поступала для церковных нужд. Остальные продавались в хлебной лавочке всем желающим. Тесто для белого хлеба и просфор месили вручную особыми веслами.

В зимнее время население Соловков сокращалось почти наполовину. Естественно, сокращалась и выпечка хлеба.

Оставшиеся буханки не оставляли до следующего дня, а резали поперечными пластинами на сухари. Над кухней для сушки хлеба было устроено специальное сушило. Сухари отправляли на отдаленные промыслы, в становища и в деревни, раздавали населению монастыря и продавали посетителям. Большая часть сухарей использовалась для приготовления кваса. Его варили в квасоварне и по желобам сливали в бочки квасного погреба. Находился он близ Спасских ворот. В погребе было шесть бочек, емкостью каждая в 225 ведер. Они были подвешены на цепях. В бочках квас вызревал. От брожения кваса бочки медленно покачивались. Зрелище необычайное. Всем приезжим разрешалось им любоваться. Угощали и квасом. Неизменная кружка-касса скромно висела на одной из стен погреба, а рядом с нею рамочка с «Кратким наставлением...». Летом квас варили ежедневно — подавали на каждую трапезу. Развозили его работающим на огородах и сенокосах.

Закупленное монастырем зерно мололи на жерновах водяной мельницы. Такие мельницы были типичны для Севера, их имели Сийский, Михайловский, Лявленский монастыри, деревни Ширша, Моржегорье и др. Но вряд ли где еще встречались сита для просева муки, подобные соловецким. Каждое сито было заключено в объятия двух громадных «рук», они покачивали сито с заданной скоростью, просеянная мука стекала по желобу в ларь, а отсевы, по другому желобу, в мешки. Детали этого механизма, тоже приводимого в действие водой, как и детали других механизмов в различных мастерских, были описаны и сопровождались рисунками. Книга этих описаний в 1913 году хранилась в архиве монастыря. Мужики-поморы были смекалисты. «Сам задумал, сам соорудил, сам работаю на своей бабу́шке». Да еще и других учил, не таился.

Кроме соляного, рыбного, зверобойного — соловяне называли его сальным—промыслов монастырь в XVII—XVIII веках развил крупный слюдяной промысел в Керетской волости. Долгое время он был единственным в России. Работа велась на двадцати четырех участках. Более двухсот человек — соловецких трудников, полетников и «керетских людей» — «били в ямах слуду». Все «снасти» (орудия труда) и «хлебные запасы» были от монастыря. Организация производства, наблюдение за хранением выработанной слюды, определение ее качества («головная она или середняя») — все это было обязанностью служебника монастырского. От добытой слюды ежегодно отбиралась десятина «головной» «великому государю». Приезжали для этого на керетские разработки выборный двинского головы и целовальники. Остальная слюда делилась на четыре части; одна из них поступала в распоряжение монастыря, а три — керетчанам, так как они составляли три четверти работающих в слюдяных ямах, где работа была тяжелее: на глубине слюда залегала среди каменной породы.

Слюды добывали много. В московскую казну в начале XVIII века головной слюды поступало в среднем 716 пудов в год. Применялась она главным образом в «окончинах», то есть заменяла оконное стекло. Слюда не трескается от холода, выносит сильный жар, потому использовалась и в уличных фонарях, и в окошках плавильных и керамикообжигательных печей. В прорезях

барабана Преображенского собора слюда была заменена стеклом в 1832 году, а в остальных соловецких помещениях только к половине XIX века.

Соловецких специалистов-слюдовщиков вызывали на работу и в Москву, и в Петербург. Для «приискания» слюды их посылали на Двину, на Печору, на Мурман, в Сибирь. В 1697 году архиерей Тобольский и всея Сибири пишет в Соловки, просит: «Пожалуйста, велите по цене дать два пуда слюды, рублев по десять или по пятнадцати пуд».

За рубежом поморская слюда была известна как «московское стекло». Это был прибыльный экспортный товар—полторы чети слюды по цене равнялись тремстам пятидесяти четям ржи. Следовательно, стоимость весовой единицы слюды была в 335 раз выше стоимости ржи. В 1781 году Любек закупил в Москве 500 пудов, а Англия и Ирландия — 2721 пуд беломорской слюды.

В 1704 году слюдяной соловецкий промысел был «отписан в казенное ведомство», закрыт казной в 1764 году, но разработки карьеров продолжали вести частные предприниматели.

В Соловках было создано много художественных произведений архитектуры, живописи, скульптуры, резьбы по дереву, кости, камню. Они многократно, более или менее детально, описаны специалистами. Все же коротко остановлюсь на одном, редко вспоминаемом произведении, восхищавшем и художественной выразительностью, и фантазией, и размерами. Это пятиярусный иконостас и царские врата Преображенского собора. Они были резаны по дереву, вызолочены и установлены почти триста лет назад (1697). Резчиками были соловецкие мастера Иоанникий и Яков. Откуда они родом, когда пришли в Соловки, где учились мастерству — точно еще не выяснено. По легенде, пришли мастера с Онеги-реки, из-под Каргополя. В ранней юности были они годовиками, а потом «пришли до веку работать». К сожалению, их творения можно в наши дни видеть полностью только на фотографиях и рисунках. Я в молодости не раз видела эти шедевры народного искусства в полном блеске и не забыла их, такие творения не забываются.

В храме, днем обычно пустом и холодном, при слабом свете, падающем из прорезей барабана централь-

ного купола, при трепетных огнях одиноких свечей и лампад торжествовала не скрытая штукатуркой кладка стен из кирпича, оплавленного до блеска, кладка их соединений «парусом», кладка перекрытия, а на восточной стене матово поблескивала фантастично прекрасная резьба позолоченного северного дерева. Талантливы руки человека и трудолюбивы.

Резчики по дереву, работавшие над крупными произведениями, были в Соловках и специалистами-реставраторами резьбы иконостасов, царских врат, рак. Благодаря их работам и заботам соловецкая деревянная резьба сохранялась веками. Реставрированные места приходилось разглядывать в лупу, чтобы точно определить места соединений.

Крупными работами соловецких резчиков были и деревянные скульптуры, украшавшие носовую часть судов. Обычно эти скульпторы, коренные поморы, были и строителями промысловых лодий. Талантливостью исполнения запоминались скульптурные изображения в ските «Иисуса сидящего», который находился в двух километрах от монастыря.

Обо всех этих работах можно рассказать подробно только в специальных искусствоведческих исследованиях.

Кроме крупных художественных произведений из дерева, камня и металла, в соловецких мастерских вырабатывались мелкие изделия, известные теперь под названием «сувениры». Все изделия пользовались большим успехом, спросом и приносили монастырю немалый доход. Успех был по заслугам, качество изделий — отменное. Они отличались ярко выраженным народным характером, беломорскими традициями.

Особенно хороши были работы «крестечников», резавших деревянные и каменные кресты различных размеров, высотой 5—8—14 сантиметров. Изготовляли их тысячами. Кресты украшались тончайшей резьбой. Материалом служила древесина рябины, самшита и кипариса. Лучшими считались кресты из кипариса и те каменные, материал для которых привозили с Борщовцев, он был темно-красным. Деревянные кресты покрывали отличной головной слюдой и заключали в оловянную или серебряную рамку-ободок, повторяющую форму креста; она не раскрывалась. Такой кипарисовый крест я передала в Соловецкий музей, кажется, он там единственный.

Славились и щепные соловецкие изделия. Они были из хорошей древесины, практичны по назначению и по форме, некоторые украшены рисунком. Поверхность каждой вещи была зачищена до блеска, как полированная. Для зачистки применяли высушенный хвощ. Это растение заготовляли летом, связывали в пучки и сушили. Такой пучок зачищал древесину лучше, чем наждачная бумага.

Каждая хозяйка, побывавшая на Соловках, привозила и для употребления и для памяти деревянную посуду — «блюдья», подносы-хлебницы, подносы-рыбницы, миски, чашки, «стаканья». Особенным вниманием пользовались ложки хлёбальные и черпаки для разлива ухи, щей, молока. По форме ложка была или «лодочкой с носочком, или «в кружок» (овальная). Ручки ложек «лодочкой» гладкие, плоские, с резьбой на конце в виде рыбки или благословляющей руки; донышко как с внутренней, так и с внешней стороны украшено рисунком, обычно это были цветы в стиле рокайль. Ручки ложек «в кружок» были округлые и на конце украшены резной бусиной. Эти ложки стоили дороже, их резали из самшита, тщательно полировали, и они казались вырезанными из кости. Такие две различные ложки я тоже передала в Соловецкий музей.

На выделке щепного товара работали токари по дереву, ложечники, судописцы-художники.

Соловецкие ложки имели громадный спрос, поэтому монастырь заказывал их мастерам-деревоотделочникам, и не живущим в Соловках.

На Украине, близ старинного города Глухова, среди полей, лугов и перелесков лежало большое село Волокитино, которое славилось своими резчиками-ложкарями. Соловки были связаны с этим селом уже в конце XVIII века, они скупали изделия мастеров, а в XIX веке уже обеспечивали их специальными заказами. Волокитинские ложки отличались хорошей формой, выделкой и росписью. Образцы росписи мастера брали на заводе фарфора Миклашевского, до которого от села было не больше 3—5 километров. Кроме того, многие волокитинцы работали на этом заводе. Завод был закрыт еще в XIX веке в связи с выработкой запасов сырья.

Побывала я в бывшем имении Миклашевских в 1925 году, там предполагалось создать музей фарфора. Мелкие вещи из фарфора с поливой были вывезены в Глу-

хов, а крупные остались еще на месте. Это были надвратные башни, купола над церковью, иконостасы, алтарь и надгробия. Всё из фарфора с однотипной росписью — букеты и гирлянды цветов. Эти-то букеты в стиле рокайль и перенеслись на донца соловецких ложек, выработанных волокитинцами, а концы ручек все же заканчивались резной соловецкой селедочкой, как требовал заказчик.

Самшит для ложек и ножей для разрезания бумаги Соловки могли закупать в Сухуми только в ограниченном количестве, так что работа по этому сырью поручалась лучшим мастерам. Из обрезков самшита мастерили небольшие игрушечные карбаски. Вещей из самшита вырабатывали мало, и они расхватывались, как только появлялись в лавочке.

Кроме великолепной посуды из глины, в Соловках делали интересные детские игрушки: свистули с переливами, свистульки, фигурки нерпы, рыбки-селедочки, кукольную посуду. Игрушки не разрисовывались, но покрывались одноцветной блестящей поливой.

В 1714 году в Соловках был построен кожевенный завод, на котором обрабатывали шкуры нерпичьи, тюленьи, моржовые, белушьи, оленьи и коровьи. При заводе была мастерская, в которой из шкур нерпы (с волосяным покровом) изготовляли чемоданы, сумки дорожные, школьные ранцы. Из кож (безволосных) вырабатывали широкие ремни для военных и школьных поясов. Все Беломорье пользовалось сбруей, уздечками, седелками соловецкой работы. Хороши были соловецкие альбомы с переплетом, покрытым шкуркой серебристой нерпы.

Кроме кожевенного завода, в Соловках для собственных нужд и для продажи вырабатывали изделия следующие заводы: кирпичный, свечной, смолокуренный, канатный, прядиленный, лесопильный, мукомольные мельницы, салотопки.

Налаживали Соловки различные производства, организовывали необходимое Беломорью многоотраслевое хозяйство. Но в этой деятельности монастыря была и обратная сторона. Для того, чтобы обеспечить сырьем и рабочими руками все эти производства, тяжкие повинности несли главным образом крестьяне соловецких деревень. Повинности были точно распределены: кто, что, сколько и когда должен доставить в монастырь, на ка-

кую работу и на какой срок явиться, куда «морем ходить».

Дрова заготовляли и доставляли крестьяне из Шижни, а сено крестьяне Чупы, Порьей губы, Умбы и Нюхчи. Крестьяне Керетской волости кроме слюды добывали жемчуг, варили соль, строили мельницы, ходили на дальние беломорские и мурманские рыболовные промыслы. Овощи, ягоды, грибы везли с Летнего и Терского берегов. Сало, кожи, шкуры — продукты зверобойного промысла поставляли с берегов Конушинского, Абрамовского и Зимнего. «Большую рыбу», то есть треску, палтус везли с Мурмана и Новой Земли специально снаряженные артели. А в каких условиях работали? «Руки зудели, спина не разгибалась, ноги не шли».

Часто, очень часто в соловецких хозяйственных документах встречаются записи: «крестьяне разошлись безвестно», «крестьяне от земли отошли напрочь», «трудники и казачки разбежались досрочно».

Тяжким трудом помора, пришлых трудников и казачков были созданы твердыни соловецкие, богатства и достижения монастырские. И на основе этого труда выросли Соловки — замечательный исторический памятник.

Производства, организованные в Соловках, были разнообразны, сырья для них хватало. Необходимо было выпускать изделия высокого качества, получать новые доходы. Руководители Соловков сделали правильный вывод — организовали школы, в которых подготовляли специалистов. Учились в школах годовики, трудники и послушники по направлению руководства монастыря. Учитывались склонности только тех учеников, у которых были ясно выражены способности к художественному творчеству. Курс обучения — от одного года до двух лет, смотря чему обучали. Преподавали в школах сами монахи, работавшие в мастерских и на заводах. Но в школу грамотности приглашались учителя из Архангельска. Одним из них был А. Колчин, описавший соловецкие тюрьмы. Это была первая работа о ссыльных и заключенных в острог Соловецкого монастыря в XVI—XIX веках.

Школы создавались постепенно в период XVIII—XIX веков, по-видимому, в порядке потребности в них. Даты начала работы той или другой школы известны только относительно некоторых из них.

Школы размещались в двух зданиях училищного корпуса или при мастерских и заводах.

Работали следующие школы:

1. Училище грамоты, 2. Каменотесная, 3. Столярная, 4. Малярная, 5. Слесарная, 6. Бондарная, 7. Сетная и прядиленная, 8. Сапожная, 9. Портная, 10. Шкиперская, 11. Кресторезная, 12. Живописная и иконописная, 13. Позолотная и ризная (в ней обучали работам по металлу).

В живописной школе недолго учился знаменитый художник А. А. Борисов. Его называют певцом Арктики.

Многие поморские юноши, закончившие соловецкую шкиперскую школу, продолжали обучение в мореходной школе в г. Кеми.

Давно, еще до нашей эры человек изобрел колокол как ударный сигнальный инструмент. Первыми были созданы деревянные и каменные колокола и только в IV веке появились колокола металлические — из бронзы, из железа. В Москву металлический колокол был завезен из Византии в X веке.

Многообразна служба колокола. Первоначально он использовался для подачи различных сигналов — бедствия, времени, созыва населения на работы, на советы, на ратный путь, на торжества и празднества. Прозван был такой сигнальный колокол вестовым. При постройке Архангельска воевода ходатайствовал об отпуске меди для отливки колокола, так как «без вестового колокола быть городу не мочно».

Ночной порой ударил колокол на башне вестовой,
Не сполошно и не в набате он забился.
Всколыхнул всех тот звоно особый.
Бьет колокол в ночи — тревогу подает,
Живущих он о горюшке-злощастье повещает,
Опасность ожидать и наготове быть велит.

(Из записной книжки 1806 г., принадлежавшей П. К. Куйкину).

Широко использовался колокол в различных религиозных культах.

В Соловки «...прибыли каменные колоколы, звонят, а клепало каменное великое звонит же». Это событие отмечено «Соловецким летописцем» в 1561 году. Появ-

ление металлического колокола, точнее, колокольцев, отмечено в 1548 году.

Совершенствовалась техника отливки и отделки колоколов, улучшалась их звучность, в связи с этим повышалось их значение не только как сигнального, но и музыкального инструмента. В Беломорье металлические колокола распространились быстро и широко и получили значение музыкального инструмента не меньшее, чем инструмента сигнального. Здесь отсутствовали народные музыкальные инструменты: бряцающие, щипковые и смычковые, распространенные в Новгороде, Пскове, Москве, на Днепре, на Волге и верхнем Подвинье. Поморы знали только свистки, свистули да пастушьи рожки. Естественно, возможность колокола дать звучания различной высоты, возможность достигнуть многозвучия при наличии нескольких колоколов различного тона, далеко идущий звук, его сила и красота прославили колокол в Беломорье.

В Соловецком, как и в других православных монастырях, веками колокол был единственным музыкальным инструментом; даже известным и широко распространенным пастушьим рожком в Соловках не пользовались. Не разрешалась светская музыка. Колоколов в Соловках было много уже в XVII веке, но монастырь еще приобретал их и для кремля, и для скитов, хотя стоили они дорого. Для их отливки нужен был чистый металл, «колокольная» медь и олово, а для некоторых колоколов еще и серебро. Процесс литья колокола требовал много времени и места. Металл необходимо было расплавить, следовательно, нужны были плавильные печи. Для формы, в которой отливали колокол, требовался формовочный материал. Созревание большого колокола длилось несколько месяцев. Отливку должен был проводить знающий мастер — «литец». Необходимы были опытные подсобные рабочие-литейщики. Соотношение размеров шатра (тела колокола), постановка ушей, форма, величина и вес глаголя (языка) «должно быть все равнехонько одно другому, отвечать и по великости и по месту».

Литье колокола — дело трудное. Это тонкое искусство — отлить колокол, который бы и звенел, и пел, и торжествовал, и скорбел, который бы подавал весть сердцу человека. И такие колокола отливали. Такие колокола были и в Соловках.

Колокола для кремля Соловки заказывали или покупали в Пскове, где «литцы были великие», в Москве, Новгороде. Малые колокола заказывали литейщикам Архангельска, Холмогор, Кегострова, Ширши. Эти колокола шли на колокольни и звонницы скитов и монастырских деревень. В документах встречаются записи: «Озвонили церковь Сумского посада» (или какой-либо другой деревни). Присмотревшись, соловяне организовали литье колоколов и у себя на островах. «Кое-чего поузнавали во Пскове». Иногда приглашали знаменитых литцов на Соловки отливать новые или переливать старые колокола.

Далеко летела слава о соловецких колоколах и звонах. Окрестные жители говорили: «Как зачнут в Соловецком звон пасхальный, не то что в Кеми и на Терском — и у нас на Кие слыхать».

По соловецкой описи 1831 года на главной колокольне кремля и на успенской звоннице было 42 колокола, на о. Анзерском, в Троицком ските — 5, на Голгофе — 8. На Большом Заяцком острове, на деревянной столповой звоннице у крыльца часовни Андрея Первозванного — 5 маленьких медных колокольцев. Всего их насчитывалось 78. В редчайших случаях поднимали звон все колокола — при посещении Соловков различными «особами», а последний раз, в 1912 году, колокольный звон приветствовал и напутствовал проходящую мимо экспедицию Г. Я Седова — первую русскую полюсную экспедицию.

Первый большой медный колокол, «вылитый в немецкой земле» (дар кн. А. И. Воротынского), был доставлен в Соловки в 1557 году, вес его около 2,8 тонны. Этот колокол никогда не поднимали на церковную колокольню: «письмена и знаки не наши». Первоначально на нем отбивали часы, а позднее он висел на особых перекладинах, врытых на пригорке за Преображенской гостиницей, звоном его приветствовали суда, приходящие к пристани, и напутствовали суда отходящие. Звук этого колокола чистый, высокий и долгий.

Главным, самым большим колоколом был «Борисович». Его отлил в Соловках старец Сергий из меди и олова, пожертвованных Борисом Годуновым. Монастырь добавил еще 100 пудов меди. Колокол «созрел», и в 1600 году его приготовили к поднятию на колокольню. Вес его — 11,2 тонны. В 1762 году он был перелит с до-

бавкой меди и олова, «весом вышел 995 пудов» (15,9 тонны). Отливал его петербургский литейщик П. Евдокимов. Через 12 лет колокол дал трещину. В это время Евдокимов еще жил на Соловках, отливал серию средних и малых колоколов. На каждом колоколе была отлита помета: дата, благодарение, место отливки, литейщик. «Борисовича» он вновь в 1774 году перелил с добавкой меди и олова, вес его стал 17,6 тонны. Колокол переименовали в Преображенский, подняли на новую колокольню. Строительство ее закончили в 1777 году. Высота колокольни до звонов была 42 метра, а с крестом 58. На высоту 42 метра и подняли почти восемнадцатитонного «Борисовича». Три раза после переливок поднимали этот колокол на колокольни и три раза спускали; последний раз, после пожара 1923 года, колокол повезли для переплавки на металл.

Хорошо, интересно рассказывал о колоколах звонарь отец Александр. Знал он историю, особенности и повадки каждого колокола, знал, как поднимали и спускали их. Он голосом звон каждого колокола воспроизводил, его переливы и перезвоны повторял. Природный музыкант был. Его рассказ:

«Поднять колокол либо спустить — дело не одного дня: высота, тяжесть большая — медь; колокол о стенные каменья не ударь. Подготовка большая требовалась. Ворот готовили особый, полоза, которыми шел колокол на ремнях. Подняли, а его еще навесить надо, подвес сделать. Язык колокольный, било прозывается, особые мастера ковали. Как поставить его, подвесить — тоже знать надобно, иначе и колокол испортишь, и звон дашь не тот, что в ём есть. Уметь надо разместить колокола, чтобы звон каждого чисто шел, не терялся и с другими не мешался. Сами все рассчитывали, соображали, а неучены были. Советы старцев-звонарей помогали. Да свой разум иной раз лучше учения, крепче лежит. Спустить колокол с колокольни не легше, чем поднять, тоже по полозам спускали воротом на ремнях плетеных ровдужных. Для подъему и спуску особые ремни готовили, плели их из ровдуги*, они других крепче.

---

* Ровдуга — безворсовая шкура оленя. Олени были завезены на Соловецкие острова в 1561 году. В хозяйстве были нужны и меховые, и ровдужные оленьи шкуры. Для ремней использовали и безворсовые шкуры морского зверя.

Все это рассказал учитель мой, звонарь отец Николай. Я тоже молодых трудников учу, как меня старец учил. Парнички есть понятливые, охотливые. Он показывал, как к колоколу подойти, как ременные концы от языка держать. Звоны протягивать разные, на каждый случай свой. Голосом показывал, как колокол петь должóн. Одинокий звук как вызвать, а как торжественный пасхальный или ходовой, они не одинаки, а колокола одни и те же. В литейный колокол как бить в одну сторону, это при заупокойных службах, когда литию правят, и в страстную. Как сполох бить: тревожить он должен, поднять человека, бьешь — и сам в тревоге. Как протянуть звон, ударить и придержать язык-било — тоже это труд и уменье. Звон вседневный, к обедне, вечерне, заутрешный обычно молодые звонари били, привыкали. Набатный звон я бил сам. Вдаришь в «Борисовича» с помощниками — одному не совладать — в одну его стену, и ждешь, пока гудение замирать начнет. Льется оно, еще не дашь замереть ему совсем, и во второй раз вдаришь. К особому звону его причисляли. Гудит, скорбит колокол, и звон — устрашает. Сам качаешься от звону, и своды кабыть тоже качнутся. Потом сполохи на других колоколах бить зачнут, быстро язык колоколов перебрасывать надо. Хороший звон на страстной, сначала ровный, спокойный, призывный, а как выйдут пред амвоном три голосовщика петь «да исправиться», надо легкой рукой осторожненько подзванивать, голоса и звон в одно идут. В легкие колокола бьешь, сам голосовщикам подпеваешь. Отрада. Мальчушонка у нас был, выводил как... А бас-то ему — как подстилает.

Хороший звонарь был на Голгофе, только иной раз забавлялся он для себя, не по службе звонил. Хорошо звонил, с подзвоном на малом колоколе. Надо ему было для души, тосковал он, больной чахнул, а молодой был, 23 годика всего. Только разрешали ему такой звон, когда богомольцев на острове не бывало. На Голгофе и сам строитель* звонил, до монашества он ямщиком в Питере был, на тройках с бубенцами за город разных господ прогуливал. В малые колокола он позванивал, играл переборами хорошо, душевно. На Секирной мало звонят и без трезвону. Там маяк на колокольне, берегут

* Настоятель скита.

от сотрясения, стекло там. На Троицком, в Анзерах колокола не больно по звону чистые, глуховаты.

Рассказывают, часть колоколов зазвонных, глухих и побитых, вывезли на металл по указу Петра Великого. Это я слыхал. К делу они пошли. «Борисовича» с колокольни в его последний смертный путь я сам спускал с другими людьми. Сердце жало. После пожара это было. Погрузили его на баржу, она шла на буксире. За Заяцкой мелью дно баржи проломил он и ушел на дно в глубь морскую, сам выбрал себе путь последний и кончину. Знаменитый был. В обращении с ним надо было обвыкнуть, узнать его нрав сурьезный. Жалел я гибель его. Редко в его звонили, в торжества. Каждый раз как ране на колокольню зайду, рукой в его стену, в край тихонько вдарю — отзовется, звук даст густой, чистый. Туману в ем не было. Искали его в море, не открылся он. Может, раскололся, и занесло осколки его песком и каменьем».

Как-то я спросила отца Александра, почему он постригся в монахи́.

Дело было такое: мать по обещанию отдала его восьмилетним в монастырь на срок. Через пять лет срок кончился, ему было тринадцать лет, он выучился грамоте, был звонарем. По собственному желанию остался в монастыре. «Прикипело сердце к колоколам. Всю жизнь, весь день при них, другой работы тогда мне не было. Сижу в келье, а все звоны слышу разные, на разные голоса и переливы. Не мог я уйти от них».

Отец Александр поражал собеседников тонкой, проникновенной характеристикой звонов — звука и связи его не только с определенным колоколом, но и с манерой звонаря обращаться с колоколом, в каждом случае особой. Он считал, что из колоколов можно извлечь пятнадцать звуков различного характера, и каждый звук по своему характеру особо именуется звонарями. Из этих звуков и составляются звоны, их, по его счету, двенадцать. В каждом звоне участвуют определенные колокола, их «ведут» в строгом порядке. Это мысли звонаря, не получившего музыкального образования. До всего он дошел сам, потому что его сердце «прикипело к колоколам».

Из 78 соловецких колоколов осталось в заповеднике только два, 76 колоколов утрачено. Остались Благо-

вестник, вылитый в 1856 году в Ярославле на литейном заводе Чарышникова, и колокол, «вылитый в немецкой земле» в XVI веке.

Колокол в Беломорье имел еще одно особое назначение, он «нес службу на море». Обживались берега северных морей, осваивались морские пространства. Далеко уходили поморские суда на промысел, для разведывания новых земель. При возвращении первой весточкой с желанного берега, весточкой родного дома, а может быть, весточкой и с судна на берег был сигнал колокола, его звон. Еще до постройки в море маяков на побережье ставили на стойках сигнальные колокола, их называли «колокол-вещун». Это они, «вещуны», подавали вести с берега в море.

В Соловках такие колокола были установлены задолго до оснащения их маяками на Секирной горе, мысах Троицком и Колгуеве (о. Анзер).

Столетиями сигнальный колокол извещал моряков: здесь я, сторожко несу свою службу, предупреждаю и напоминаю. Далеко в открытом пространстве моря слышен звон колокола.

Колокол же отбивал время на судах, подавал служебные сигналы. Судовые колокола носили особое прозвание «рында». Рынды многих кораблей и судов — музейные реликвии, свидетели и участники великих походов, плаваний, сражений, побед, свидетели доблести и самоотверженности поморов.

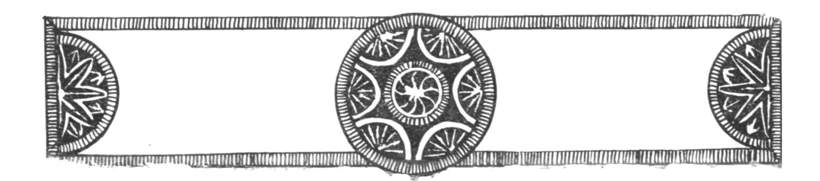
И еще есть памятные колокола. Побывала поморка в Хатыни, потом рассказывала: «Экскурсовода слушаешь — сердце щемит, а печаль главную еще и колокол показал». Да, о печали общей напоминает колокол Хатыни, печали незабываемой.

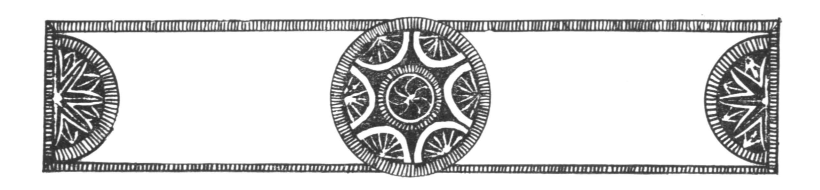
Утверждает колокольный звон и радость, и апофеоз победы. Слышим мы такие колокола в Торжественной увертюре «1812 год», созданной великим П. И. Чайковским, в опере «Иван Сусанин» М. И. Глинки, в поэме для оркестра, хора и солистов «Колокола», написанной Сергеем Рахманиновым.

Колокола, их звучание, не заменимое, не передаваемое мелодией никакого другого музыкального инструмента, необходимы человеку. Колокол сродни нам издавна. Звучание его понятно разуму и сердцу каждого.



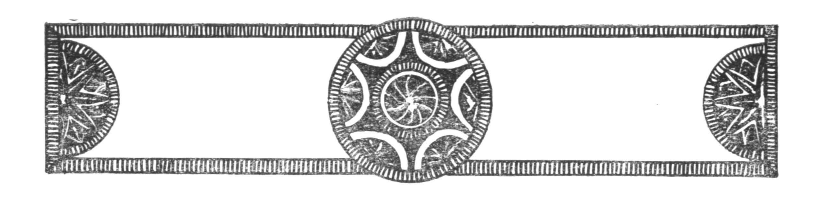
СКАЗИТЕЛЬНИЦЫ











Все сохраненное и созданное поморами—это бесценное свидетельство великой древнерусской культуры, а также истории нашего Беломорья, нашего Севера. Хранить, беречь, изучать надо это наследие, а не отмахиваться от него, как от «пережитков». К сожалению, еще встречается пренебрежение старой культурой. Оно строится на недопонимании ее значения, как давней основы нашей великой культуры современной.

Все тексты: сказывания, плачи, ожиданьица, разговоры, песни записаны мною во время авторского, обычно первоначального исполнения при том событии, которое вызвало их, а не при повторе для специальной записи этнографом, историком или поэтом, то есть собирателем поморского фольклора с той или иной целью. Повтора и не могло быть. События, вызвавшие к жизни эти творения, неповторимы.

На Севере знают и почитают устное народное творчество, ценят его слово — мудрое и меткое, слово, смягчающее печаль, слово веселое, разгоняющее тоску. Уважительно относятся у нас к творцам, сказителям — хранителям, а также и к собирателям былин, старин, сказываний, песен, сказок, поговорок, загадок, речений и слов. Все эти творения — сокровищница языка, показатель его развития, зеркало истории, характера народа, его чаяний и достижений, его культуры.

Различными путями пришли на Север творения новгородские, киевские, владимирские, московские, некоторые из них не сохранились на своей географической

родине, но прочно закрепились на Севере, пополнились вариантами. Причины тому разнообразные — и исторические потрясения, не затронувшие Север, который поэтому и мог принять пришельцев с Днепра, Волхова, Волги, и суровые условия жизни северян. Для них слово прежде всего несло знакомство с далеким миром — и реальным, и фантастическим. И этот мир уже становился близким, родным, своим. И свои слова поморские, важские, пинежские складывались в новые местные песни, сказания, сказки, а кроме того, и варианты сказов пришельцев.

Немало дал Север сказителей, подлинных художников слова и исполнения — пропевания и сказывания. С некоторыми из них мне посчастливилось повстречаться. Талантом, даром импровизации, чутьем слова былинного, а также и песенного строя, проникновением в суть исполняемого произведения, сопереживанием с его событиями и героями особенно памятны Марфа Семеновна Крюкова и Мария Дмитриевна Кривополенова.

Впечатления об этих сказительницах сложились у меня по их публичным выступлениям, а кроме того, и по встречам с М. Д. Кривополеновой в Петербурге, в Архангельском обществе изучения Русского Севера и в кружке любителей изящных искусств, а с М. С. Крюковой — в Географическом обществе.

Марфа Семеновна Крюкова долгую жизнь, 78 лет, прожила в деревне Нижняя Золотица на берегу Белого моря. Она поморка и по облику, и по манере держаться. Высокая статная женщина, походка ее неторопливая, плавная, голову несет горделиво, у нее твердый упрямый подбородок, серьезный взгляд, брови нередко чуть хмурятся, улыбка сдержанная. Жест ее несколько замедленный, но вдруг прорывается широкий, даже размашистый. Голос ее — голос северянки, жительницы морского берега, привыкшей перекрывать шум ветра и волны. Слова произносит четко, сохраняя все особенности беломорского говора, не подчеркивая их; ритм ее сказов размеренный, тон убежденный и часто торжественный.

Марфа Семеновна знала, что она хранительница бесценного клада, не сомневалась, что россыпью его, коль ее охота будет, она не только одарит, осчастливит, но и поразит, удивит слушателя. Не всем дано это счастье, а

ей, Крюковой Марфе Семеновне, отпущено в полную меру.

При новом знакомстве, всех поприветствовав, Марфа Семеновна разговора не начинала, ждала обращения к ней. На вопросы отвечала коротко сразу же, будто предвидела их и готовилась к ним. Одежда для выступлений у нее была обдумана, она носила длинный сарафан поморского кроя и на плечах богатый плат, голову повязывала цветастым, но приглушенных тонов, платком.

Марфа Семеновна приветствовала слушателей сдержанным поклоном и легким движением правой руки. После выступления, под шквал аплодисментов, кланялась в полпояса, торжественно, с достоинством, безулыбчиво. Выступления ее были глубоко артистичны.

Выросла Марфа Семеновна в семье и в окружении потомственных сказителей. Мать ее, Аграфена Матвеевна, была известной сказительницей, от нее были записаны 62 былины и исторические песни. Пропевал и ее отец, Семен Васильевич. Марфа Семеновна в детстве читала все, что могла достать у себя в деревне. Знакомилась с записями былин, но позднее не любила вспоминать об этом, считала, что в прежних записях много неточностей. Много сюжетов различных старин было известно ей также с детства и от других золотицких сказителей. Пропевала, «как в Золотице вели».

Сюжет для Марфы Семеновны - исполнительницы был главной основой в ее творчестве. Она обладала великолепной памятью, богатейшим словарем и изумительным талантом импровизатора. Зная сюжет, она сама создавала былины и многочисленные их варианты. Так сложился у нее громадный запас различных старин. Марфа Семеновна была требовательна к точному воспроизведению былин другими сказителями, сама же часто развертывала отдельные былинные эпизоды в самостоятельные старины со многими новыми деталями. Ей казалось: конечно же, это она пировала в хоромах стольного града Киева за дубовыми столами, крытыми браными скатертями, обмирала при встрече с Чудищем поганым, дивовалась на свист-посвист Соловья-разбойника.

Пропевать начинала она сдержанно, но быстро увлекалась, глубоко переживая события тысячелетней давности, погруженные и в явь, и в фантазию. Древние произведения постоянно дополняла, вновь окрашивала

своим личным отношением к былинным событиям и к их участникам, часто оценивала их действия. При этом она не сбивалась с былинного ритма на прозаический рассказ, но в разговоре иногда переходила на былинный размер. Она не только вживалась в мир своих героев, но и привносила в него свои поморские представления. Пропевания были для нее основным, главным делом ее жизни, поэтому-то она охотно и даже радостно соглашалась на запись ее сказываний, интересовалась их изданием. Пропевала она свободно, слов не подыскивала, выразительно акцентируя главные для нее выражения и делая проникновенные смысловые паузы.

Вся жизнь Марфы Семеновны Крюковой — непрерывный труд, творческий, радостный для души. От нее записано более 150 былин, много сказок, пословиц, а также сказаний и о советской действительности, связанной с именем В. И. Ленина. Это талант удивительный, осознанный сказительницей, приумноженный трудом и всеми признанный.

Кривополенова Мария Дмитриевна — сказительница иного склада. Небольшая, сухонькая, быстрая и подвижная, у нее шаг опытного пешехода, взгляд острый — все подметит; при разговоре, а особенно когда сказывает, каждая морщинка загорелого, темного лица играет. Смешливая и насмешливая, и какая-то наивно доверчивая; многое удивляло ее, удивление она выражала открыто — и словами, и восклицаниями, и жестами. Жест ее быстр, краток и предельно выразителен. Вот шевельнул лапками кот, подбираясь к миске с пирогами, вот курочка присела, чтобы яичко снесть, вот скоморохи в пляс пошли, а вот и сам Иван Грозный думу думает, и перед ним в трепете держит ответ его сын. Слышим рокочущий низкий голос Микулы Селяниновича и чистый хрустальный звенящий голосок-щебет пташки, прилетевшей на поднятый Микулой пласт земли зернышки склюнуть. Все зримо, каждый жест идет в ряд со словом. Голос ее поражал глубиной, силой и музыкальностью, было в нем что-то от органа. Это голос большой певицы. Интонации у нее тонкие, иногда только намек, но есть и выразительный акцент, и выдержанная, многозначительная пауза. Одевалась она бедно, темный сарафан на лямках, рубашка с воротничком-каблучком, белые рукава с розовыми ластовицами, на голове светлый ситцевый платочек, повязанный «по обличью».

При выступлениях поддерживала связь со слушателями, рукой им помахивала, широко улыбалась, нет-нет и какое-то словечко бросит им мимоходом. Память у нее была удивительная. Обычно стародавнее, то есть былины и исторические песни, она пропевала, сохраняя всегда один текст, дословно, как запомнила «с давешних пор». Но были у нее и варианты этих произведений, созданные ею, она всегда оговаривала их — «поют еще и едак». Но в небывальщинах и неслыхальщинах она импровизировала широко и вдохновенно. Своим пропеванием она стремилась доставить слушателям удовольствие воспоминаниями о стародавнем, а небывальщинами порадовать, повеселить их. При этом сама была и довольна, и весела. Думалось, что, пропевая небывальщины, она была уверена — «у нас на Пинеге и не такое еще бывало».

Легко, без жалоб прошла Мария Дмитриевна по земле и многим принесла она не только утеху, но и утешение. А жизнь ее была нелегкой, об этом ясно говорили ее руки, натруженные, с крупными венами, они устало и как-то печально лежали на ее коленях, когда она отдыхала. Они оживали при работе и при пропеваниях. Она радовалась кусочку хлебушка, коль подан он был с добрым словом, и всегда отвечала подавшему своим поэтическим благодареньицем.

Памятна мне встреча с Марией Дмитриевной в Архангельском кружке любителей изящных искусств. Ольга Эрастовна Озаровская рассказывала о своих записях пропеваний сказительницы, а Мария Дмитриевна пропела о стольном граде Киеве и несколько пинежских небылиц. Затем за чайным столом зашел разговор о необходимости для Марии Дмитриевны выехать из деревни — ее зовут и в Архангельск, и в Москву, на родине у нее жизнь тяжелая, в нужде, а в городе ей будет жить легче; в Москве запишут все ее пропевания, а их «край непочатый, шире Пинеги», по ее словам, и далеко не все еще записаны. И вот как ответила Мария Дмитриевна: «Нельзя мне в городе жить, душа моя замрет без домашнего воздуха отецкого да материнского. О тяжелой жизни говорите, какая же это тяжесть. Ну, плохи, неподходящи бывают дни там или недели. А радости да восторгу сколько на родительской-то земле. Как земля зацветет, травы встанут, лесины в каком наряде стоят. Зимой снега землю греют, укроют ее. Я зимой всюду по-

спела, зимой дорога открыта, в каждой деревне в любой дом захожу. Хозяйки зимой дома, к вечерку люди соберутся на мой приход. Как знакомая всем, и веду свои пропевания, небывальщинами тешу. Люди слушают, смотрю, какие лица да глаза у них, у каждого своя дума радостная, а то и печальная. Подпевают небывальщинам. Тут мне и радость. Добрым словом меня награждали, никогда обиды не видела. Марьей Дмитриевной прозвали, разве какая одногодка Марьей или Машуней назовет, по-свойски. Ночевать все приглашали. Как уходить стану, хлебушка, шанег дают, а иной раз даже и сахару». Да, даже сахару, вот какая жизнь была.

Посмотрела она на всех, маленькая, худенькая, лицо обветрело, голова платочком повязана, радостно засмеялась, махнула рукой. «Вы, бабоньки, не верьте тяжелой жизни, оговорилась Эрастовна, на людях я живу».

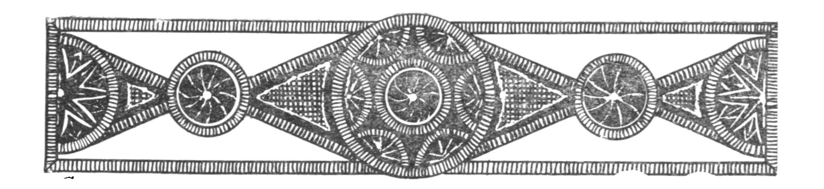
В 1978 году встретилась я с пинежанкой А. Г. Чарнусовой, ей мать рассказывала о М. Д. Кривополеновой. «Проворная такая, везде поспевала и во всем успевала, а кажись, и не спешила, не суматошилась».

И еще один облик Марьи Дмитриевны: «Говоркая она, засмеется так тоненько и глаза прищуривает».

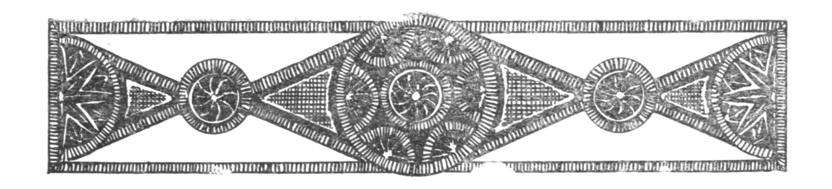
И еще следует вспомнить. Было это в Петербурге. О. Э. Озаровская обещала рассказать слушательницам Бестужевских курсов о своих записях фольклора на Севере и познакомить с М. Д. Кривополеновой. На встречу все собрались в десятой, самой большой, аудитории. Ждем. Марья Дмитриевна вошла быстро, твердо ступая, одета была обычно, сделала два-три шага, всплеснула руками, заулыбалась и громко воскликнула: «Девок-то, девок сколько», — и взобралась на кафедру. Встреча всех сразу обрадовала, и радость сохранилась надолго.

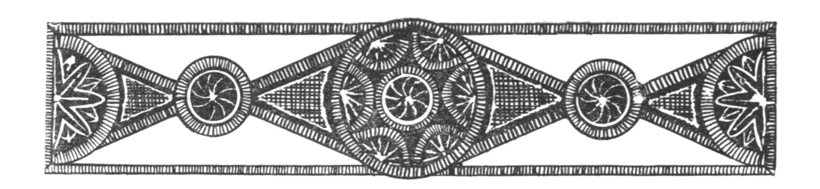
Такой неповторимой Мария Дмитриевна в памяти и осталась. Талант у нее особый — всегда радоваться жизни и человеку. Талант сердца.

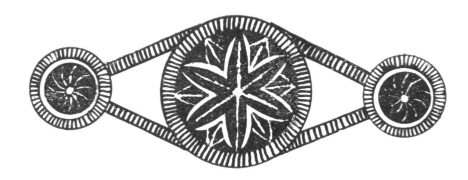
Не забывая сказительниц, следует вспомнить и тех, кто дал широкую жизнь их творениям. Записи былин М. С. Крюковой в основном провела Э. Г. Бородина-Морозова. Запись произведений М. Д. Кривополеновой организовала О. Э. Озаровская.

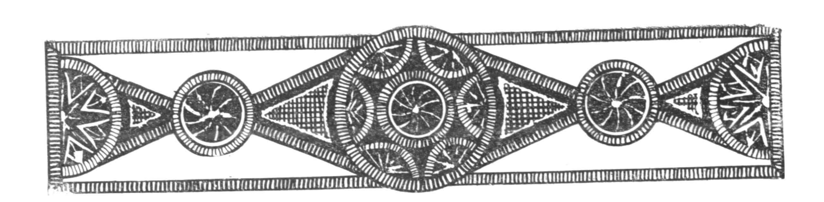


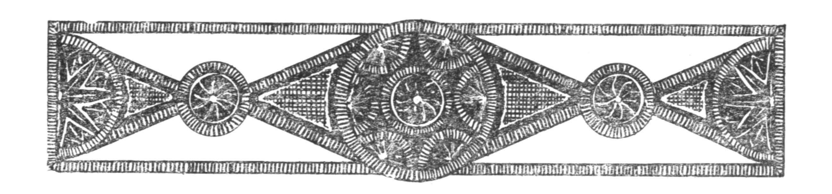
Ожидальница











Не раз слыхала я сказывания женщин, ожидающих отцов, мужей, сыновей с морского промысла. Сказывания эти особенные, в быту их называли «ожиданьице». «Она, Матрена, ладно ведет ожиданьице»,—говорили поморки Кушереки о своей соседке. В них и страх за судьбу близких, и ожидание скорой встречи, и заклинание враждебного бурного моря, супротивного ветра, коварных подводных камней и наносных песчаных кошек. И исполнение их особенное — речитативом, с певучим растягиванием тех слов предложения, которые следовало выделить, как основные для выражения мысли. В голосе иных женщин слышалось подавленное рыдание. Но ни одна не причитала. Слезам не было места, все ждали в тревоге, но все надеялись.

В погоду или при долгом запаздывании возвращения промысловиков женщины выходили на угор, высматривали, не чернеет ли суденышко, не белеет ли парус. Выходила одна, появлялись вторая, третья. Некоторые в тревоге ходили по угору, некоторые сидели в одиночку или небольшими группами. Собиралось пять-десять ожидающих, иногда больше.

Ожиданьица были импровизациями, они возникали и в зависимости от внешних условий — сколь бурно море и силен ветер, и от ожидающих — была ли это старая мать или молодая жена. У каждой была своя тревога, свои надежды. И, удивительно, они складывали, не сговариваясь, одно общее ожиданьице. Одна начинала как бы про себя, другие, иногда после значительного пере-

рыва, продолжали, но они не прерывали друг друга и не соблюдали какой-либо последовательности. Ожиданьица отличались от песен, былин, плачей характером и содержания, и исполнения. Они не передавались дочерям от матери, каждое ожиданьице — новое произведение. Но у всех ожиданьиц — речь идет только о тех, которые я слышала, — было и общее — традиционные выражения, определения, словосочетания, поэтому казалось, что каждый раз складывается особый вариант какого-то давнего творения, порожденного чувствами, обуревающими человека в тревожные или радостные моменты жизни. Переживания женщин были сходными. Их вызывали одинаковые причины.

Ни одна женщина не порицала моря. «Отзовешься неладно, рассвирепеет», — объяснила мне одна из ожидающих, а вторая добавила: «Живем веть им».

Море не кротеет, а затемнилося,
Ох, рванет полуношник нежеланный.
Встанет взводень, зарыдат.
Да свистит полуношник, пылит по морю-океану.
Пену с гребня волны рвет.
Бьет о суденышко наше, то вздымает, то кроет его.
Воды на берег накатом падут тяжким.
Где ты, кормилец детушек наших?
Знаешь все дороженьки морские,
Кажинной камушок тебе известен.
Не раз буря-шторм тебя пытали,
А все к дому ты шел, звезда вела невидимая,
Хранительница дома нашего матерь христова.
Уймись ты, море Белое, студеное,
Почитаем тебя за кормильца нашего.
Жизни нашей нету без тебя.
Отвори ты, море Белое, дорогу мужикам да сынам нашим.
Утешение дай нам, ожидающим.

Это ожиданьице я слышала в 1911 году в Яреньге на Летнем берегу.

Многие ожиданьица женщины повторяли, варьируя их. «Море не кротеет, а затуманилося», — скажет одна. «Затуманилось наше море», — откликнется другая. «Не кротеет, не кротеет наше море, — все туманится», — подтвердит третья. Много вариантов было на слова «Ох, рванет полуношник нежеланный». Сразу же откликается другая: «Негаданый накроет полуношник», или «Тяжко будет, как налетит ветер с полночи», или «Полуношник, он и есть полуношник тёмный». «Тёмный да ярый», — прозвучит еще голос.

Новые строки ожиданьица вела не одна и та же женщина, а любая из них. Создавалось впечатление сердечной беседы о самом заветном, сокровенном, близком каждой собеседнице.

В 1913 году записано ожиданьице в Сюзьме на Летнем берегу.

Небо померкло, на море света не шлет.
Тучи заклубилися, пуще мрак насылают.
Звезд не видать, не кажут пути моряку.
Полуношник свищет, страшит.
Вода тяжко бьет, берега заливает,
Зги не видать, паруса не белеют.
Где вы, кормильцы наши, бьётесь с морем?
Одна надёжа у вас — своя головушка да рученьки.
Все дороженьки морские знакомы вам.
Не раз горевали в погоду.
Не страшились ветра с полуночи.
Не боялись взводня морского.
Воды морской тяжелой, холодной, солоной.
Не погубит вас море наше Белое.
Не оставит сирот разнесчастными.
Не оставит и матерей бедовать.
Уймется, откроет дорогу вам.
К дому родному, к теплу приведет.
Море-морюшко любое наше, уймися.

Колежма — старинное село, упоминается оно в документах 1548 года как Колежемская волость, владение Соловецкого монастыря, имеющее свои промысловые станы на Мурманском берегу в Териберке. Раскинулось оно на Поморском берегу Онежского залива длинными порядками крепких, поморской стройки, рубленых деревянных домов. В прошлом в центре села стояла старая, XVI века, деревянная церковь в честь св. Климента. На угоре вытянулись в ряд амбары, бани, стойки для сушки сетей. На берегу, у самого уреза воды — лодки, карбаса.

Жители варили соль, в XVI—XVII веках было здесь 8 варниц, принадлежали они монастырю. Промышляли рыбу, морского зверя, строили суда. В XVIII—XIX — начале XX века возили в Норвегию для продажи муку, зерно, которые закупали в Онеге, вывозили рыбу, главным образом лабордана и пластуна, а для своей потребы закупали ткани, сахар, кофе, трубочный табак. Любили в прошлом поморки рядиться в канифасные сарафаны и кисейные рукава, побаловаться кофейком, а поморы предпочитали самокруткам трубочку-носогрейку с рубленым табаком.

Ожидая возвращения рыбаков с мурманской страды или из «немецкой стороны», их жены, матери, ребятишки, как и в других селах Беломорья, выходили на берег и невольно делились друг с другом своими переживаниями. Так складывались и здесь ожиданьица.

В августе 1912 года ожидали приход двух колежемских шхун, промышлявших на Мурмане. Их уже видели у Соловков, сказывали пароходчики, вот-вот они должны подойти к Колежме. На море легкий попутный ветер. Женщины и ребятишки ждут, конец тревогам, ожиданьица полны радости встречи. Вот кто-то первой молвил:

Нет показу на ветры несхожие.
Поветерь в самый раз, помога хорошая.
Наши-то сильны да знающи.
Шхуны сами строили ходкие.
Паруса сами шили, ветра не упустят.
К дому наши идут, соскучали по избну теплу.
Ждут их баенки, полки нашорканы,
Венички березовы напарены, кваском политы.
   Пироги да шаньги на столах,
   Самовар, колоба да ягодники.
   Пива́ поставлены солодовые.

И вдруг скучный такой голос:

Ждем, дожидаем, а на небо глядим,
Бухмарить бы не зачало,
Ветерок проверяем, не припал бы вcovered.

И сразу же встречавшие зашумели:

Не каркай, помолчи,
Не знаешь слова приветного.
Море наше осуждения не любит.
Кормит нас оно, и ты уважь его.

Тут ребята разом закричали: «Идут, шибко идут. Паруса все подняты», — и помчались к прислону. А женщины скорее домой баенки проверять, самовары подживлять, столы еще раз пополнять. Пришли долгожданные, желанные, кормильцы, великие труженики — пахари моря.

Слыхала я ожиданьица в Поньгоме и в Кузомени. Они короче, но отдельные речения имели больше вариантов.

Все ожиданьица записаны во время их ведения, на берегу, по первому речению. Точка отделяет каждое индивидуальное речение. Многие варианты-отклики записать не удавалось, иногда они возникали один за другим, иногда после некоторого раздумья.

Давно записаны ожиданьица. В наше время рыбаки выходят на промысел на крупных, хорошо оснащенных судах. Нет больше страха за их судьбу, спокойно ждут родные их возвращения.

Забылись ожиданьица, ушел из жизни еще один вид устного народного творчества, хранит его только память немногих свидетелей былых тревог сердца за кормильца, за опору семьи.

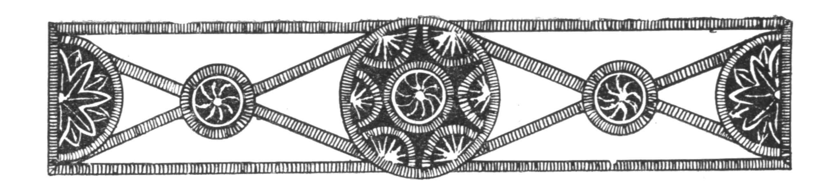
Но в 1966 году в Семже на реке Мезени посчастливилось мне записать, точнее, в какой-то мере воспроизвести по рассказу А. Е. Масловой, а не по непосредственному исполнению, «моление» у креста на Взглавии. Возможно, в записи есть некоторые отклонения от рассказа, а в рассказе от исполнения. На мой вопрос, кто это ждал на Взглавии, она ответила: «Так, сродственница одна». Записав моление, я читала его Анне Ефимовне. Прослушав, она долго молчала, а потом сказала: «Кабыть так, матушка крёсна моя это была. Кончилась она. Я ходила с ней на Взглавье».

Снега белые да глубокие
Из конца в конец полегли.
Пали ветры с ночи да полуношник,
Все дороги замели,
Малой тропочки не оставили.
А льдины идут, грохотят, скрежетят.
Темная да холодная тяжелая вода в разводьях плещется.
А наш-то кормилец в покрут пошел,
Зверя бить-промышлять.
Не побоялся холода да тяготы.
Не за прибылью, не за радостью.
А от бездольица, малым детушкам на прокорм
На свою пошел на смелу голову,
Дал в покрут свою силушку и уменьице.
На мое горе, бедованьице, на мое гореваньице.
Припадаю я ко кресту на Взглавии,
Оборони, убереги кормильца нашего,
Не осироть малых детушек,
Не покрой меня платом черныим,
Не пошли жизнь тяжкую.
Ветры с океана-моря меняются,
Лед торосит да разводится.
Юровец на залежке смердит (ревит).
Дай удачи, господи, кормильцам нашим,
Дай возврат им скорый.
Матерь божия, прими сокрушенье мое,
Сына своего ты умоли, да Николу,
Рыбакам защитника да помощника,
Упроси, взглянь на мои слезы материнские,
Вспомяни слезы и горе свое.

Нет тяжелче горя материнского
Над бедованьицем детушек своих.
Без отца не вырастить одной
Семью свою, не выкормить,
Не обуть, не выучить.
Припадаю ко кресту, другой надежи нет.

На следующий день Анна Ефимовна сказала мне: «Почитай-ко еще моление на Взглавии». Я прочла, она долго молчала, а потом сказала: «Вернулся мужик ее бездыханным, плакалась она, сердце свое надрывала да и всех, кто слышал. Слово у ей было, до всякого человека доходило. Молоденькая была я, пятнадцати не сполнилось, а прожгло ее Слово меня. Пускай и другие почитают. А ты все поняла». Дóроги мне эти ее последние слова. Моление я слышала только однажды. Плач записала тоже по рассказу Анны Ефимовны. Здесь он не приводится. Потрясает он силой, болью и глубиной страдания, вызванного утратой, и даже не страхом, а ужасом перед неизвестным будущим ее детей. От кого, какая помощь? Осиротели, утеряли кормильца.

Это всё в прошлом.

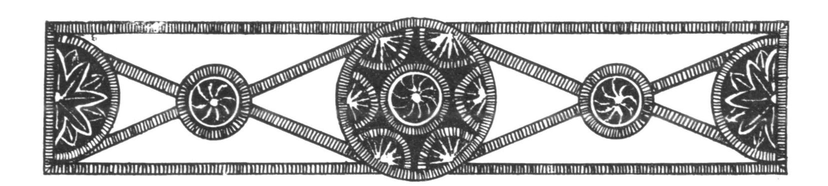


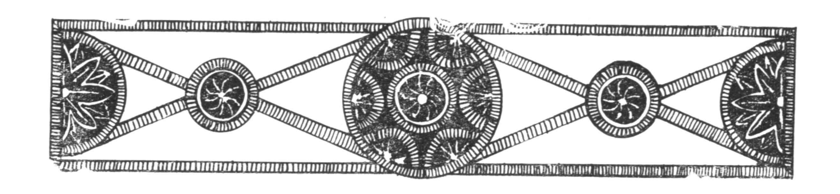
ПОМОРСКИЕ РАЗГОВОРЫ











Речь помора немногословна при наличии богатой лексики. Немногословность объясняется свободным владением словом, способностью и умением выбрать его для точного выражения мысли, без дополнительных речений и объяснений. Его речь всегда образна, часто построена по типу пословицы. «Стары пословицы — не мимо дела», — говорит помор.

Первых поселенцев незнакомый им морской Север встретил сурово, не среднерусскими природой и климатом, в условиях которых они выросли. Хочешь жить на Севере — наблюдай, учитывай, заново осваивай то, что нашел на новой родине. Советчиков не было. В новых условиях и воспитывалось у человека внимание к окружающему миру, наблюдательность, умение разобраться что к чему. Тут посуровел его характер, выработалась выдержка, такая необходимая в тяжелую минуту, особенно на море, выработалось умение встретить неожиданность, не растеряться. А неожиданностей и на море, и в лесах-болотах было немало. И еще — пришел на Север жить, надо учить уму-разуму своих наследников, передавать им свои знания, опыт. А как в те времена, шестьсот, пятьсот лет назад, передашь? Только словом да показом, а показ без слова еще полдела. Слово в Беломорье в точку отковано, оно вразумительно и в то же время много в нем подлинной поэзии и душевности. В гневе помор найдет слово—как припечатает, насмешки его тоже оберегайся, приклеит словечко такое меткое, что и другие подхватят. Поразительная точность поморского слова. Заслушаешься.

В различных районах Беломорья я записала некоторые разговоры с поморами и поморками разных возрастов. Это разговоры о самом обыденном, повседневном: о природе, море, труде, о хлебе, человеке и семье, о смерти. Небольшая часть этих записей, примерно одна треть собранных, приводится дальше. Записи сделаны в Сюзьме, Лопшеньге, Летней Золотице, Пурнеме, Колежме, Вирьме, Сумпосаде, Керети, Варзуге, Пялке и Семже.

Надо отметить, что особенности поморского говора (в произношении, постановке ударения, в окончаниях слов) постепенно утрачиваются, стираются. Речь поморов ближе к литературной в тех селениях, которые расположены невдалеке от крупных культурных центров. Связано это и с возрастными категориями населения, с повышением его общего образовательного уровня. Местность, где услышано то или иное речение, отмечено на специальной карточке, картотека в моем архиве.

Охотно говорит помор, и стар и млад, о живом мире моря и земли, он знает его на опыте. К нему у помора не только практический интерес, он само собой разумеется, но и любование красотой мира, такого разнообразного. Им он живет, его красоту и прелесть всегда воспроизводит и в своем обиходе — в жилье, одежде и предметах быта. Воспроизводит непосредственно живо и в слове:

«Хоро́шо время, как сосна цветет, воздух какой от нее благодатный.

Есть у нас на островах богородицына трава, полезная и красивенькая, душмяная трава, приятная. Заместо чаю она нам.

Сиверко да полуношник, глубник тоже кривят стволы дерёв, ветки ломают и гнут, но дерево — сила, оно из земли идет, за нее держится, знает, как оберечь себя. Земля не подведет. На берегу все они стволом и ветками от моря, от ветра отворотилися. Помор все их указки как по книге читает.

Красива ягода брусница, радостно красеет, а цветики, как колокольчики.

Брусница ягода ходкая, легко берется, в корзину про́сится.

Морошка натрудит ножки.

У рябины летом цвету много, жди осень дождливую.

Рябина всем взяла — и стволом, и листом, и цветом, и ягодой. Да и птицам корм. Мы-то не потребляем.

Лебедь хорош как с воды поднимается, крыла раскроет, гребет ими, по воде бежит, а как на крыло встанет, воздух в перьях засвистит и полетел — сила.

Лебедь все парами. Заботливая к своей подружке птица. Дивишься. Ходил на перелет любоваться, есть у нас озерко да ручей. Лебедиными прозываются. Сторожко надо сидеть: чуткая птица, вспугнешь, отдыха их лишишь. Оберегать надо.

Пунуха — птица малая, а смелая, прилетит стайкой рано, еще не все снега сошли. Летит далеко через море. Такой колобок пушистый.

Гнездо гагуна на земле пухом выложено. Человек его рушит, яйца либо птенцов губит, а пух-то тоже ему нужен. Вот и загвоздка.

Гагара человека от гнезда, от птенцов отводит, бежит перед им, заплутать хочет.

Рябка́, куропоть бьешь не для забавы — харч это, перо тоже надобно.

Ребята малые любят, как глухого либо косача принесешь, зоб у их большой, надуют — вот и бабу́шка.

Крачка невелика птица, а человека к гнезду не пускает, кидается на его, боевая, клюет — береги глаза.

Крачка отчаянна птица, в карбас на улов кидается, птенцов кормить надо.

Трясогузка хвостом лед разбивает.

Семга красиво в воде ходит, самостоятельная рыба.

Да, красивше семги рыбы нет.

Семгу изловишь, а она все не дается, борется с рыбаком, изворотливая, свободу любит.

Семгу изловишь, кротить ее надо, чтоб омертвела; жалко, а надо, изобьется.

Трешшочку не поешь, на работе не потянешь.

Треска — адмиральская рыба.

Селедку в сеть возьмешь, подымешь, а мелочь в ячеи на волю выскакивает, высоко, словно стрелки. Крачки да чайки на лету хватают.

Сижки-заледки идут — любуешься, да и в сети тоже серебро.

Сиг — лучшая рыба в рыбник.

Зубатка на камне, где солнце воду просвечивает, свернется кольцом, нежится, злая. Можно шестом ее поднять, подразнишь — схватит намертво, то и зубат-

кой зовут. В карбас с шеста скинешь, берегись, как бы бахилу не прокусила. Беломорская — мелкая, за крупной на Мурманску страду ходим. Сытная рыба.

Палтус — рыба сонная.

Палтус сном не кори, жир нагоняет.

Камбала на дне лежит, в мелководье, небо увидать хочет. Неважная рыба.

Навага, та жаднущая, все хватает, наживки не надо, на лоскут без разбору кидается. Да что на лоскут, первая его схватит, а вторая за хвост ейной.

Глупее пинагора рыбы нет, а нарядиться умеет.

Корех больше на сущик жонки берут, из свежей уха неважная, сладкая, а иные любят.

Корех не уважаю, нечистоплотная рыба.

Нерпу бьем на льдинах, главный промысел на Кедовском ходу, на малый промысел с Жижгина ходили, за бельком на Золотуху. Спервоначалу жалеешь, как малый-то белёк заревит, как дитё, а после и не слышишь его рёву, думаешь, как больше взять. Утельгу тоже бьешь, а ведь — мать.

В океане у Маточки и моржа когда-некогда встречали. Зверь громаднеющий, страху не знает, один встанет, ползет на борт, не остановишь. Да ничего, управлялись,

Уважительно говорят поморы о море, не только о родном Белом, но и о Баренцевом и Карском. Хаживали они на их просторы, выходили и в океан. Море — кормилец помора.

«И радость, и горе помору — все от моря.

Море тебя кормит, и ты его уважь.

Помору любо море Белое, сам его веками осваивал, обживал, каждый камень его знает.

Белое море сердитое по осени, но отходчиво.

Баренцево море надоть Поморским звать, поморы его обживали.

Глянь, вода-то стеной с Горла к Мезени да к Кулою идет: вздохнул батюшко.

В безветерье вода тихо так подходит, а в ветер накатом идет, бьет, особо в скалу, убой да и только, кипит, охлестывает. А красотишша.

Жизнь помора тяжелая, а все порадует, как в море парусом идешь; вечером солнце на закат в зорю уходит, а утром опять зорю дает, встанет, осветит и заиграет все.

Улов-то уловом, а все и красота морская тешит.

Море закалку дает и телу, и сердцу.

Морем живем, ему и песни поем.

Дед говаривал: по тонкому ледку в жизни николи не ходи.

Наливанец обманщик: купель даст, бахилы зальет, а то и по пояс. Стерпишь.

Склянка тоже не подарок.

На море пыль стоит страшенная, лютует батюшко, полуношник его подбивает.

Как пылит да замолаживает, да ветречки несхожие падут, рыбаку на море выходу нет, сиди на печи да сети вяжи. Печалуйся в избы.

Хорошо Белое море, как затишеет.

Не скажи, шумит — тоже любуешься с угора.

Холодны ветречки помору не утеха.

С ночи ветер затяжной, вымотает.

Полуношник долго не стихает, злюшшой ветерок.

Обедник короткий ветер, к вечеру спать идет.

Шелонник задует, жди, еще яриться зачнет.

Всточники да обедники морозны ветречки.

На восьми ветрах да на всех подветерьях у моря живем, привыкли.

Ветер и гудит, и воет — все выдержишь, а как засвистит, поберегайся вдвое: то полуношник, шалой свистун, о себе напоминает, налетит с маху, не зевай.

Как взводень встанет, зарыдат и зачнет гребень загинать, да пена с его полетит — страшись, а боязни не показывай, себя потеряешь. Держись.

Пал полуношник, зашумело море, взводень встал, идем, путь ломаем, справились до заветерья на Терском. Не из пугливых мы.

Взводень стеганет, рассыплется над карбасом, ему и конец.

От взводня с разумом уйдешь, а ума нет — на дно ляжешь.

Взводень страшит, а думка есть: ладно, поборемся.

Ходко идешь, как в поводь попадешь.

Припади-ко ветерка, подыми нам паруса.

Подуй, ветерок, да непокосный.

Страх — это опасность, понимаешь, соображаешь, что делать, а боязнь — от труса, одна суматоха.

Страх на море соображать учит, боязнь разумение отымает.

Страшно-то оно страшно на море в погоду, сердце мрет, душа трепешшет, держись, а забоишься, себя потеряешь, все в развал пойдет.

Круговая порука на море, друг за друга держимся и Николу-помощника помянуть не забываем.

Помогает ли когда Никола?

Кто знает, все же уверенность укрепит. Это по старинке мы. Надея стародавня.

Помор наукой отцовской, дружками да своим трудом силен.

В море идти с теми дружки-товарищи, которы николи не оставят без помоги во всем.

Товарища в беде на море оставить, себе помощи не ждать.

Держись в море около людей, беду одолеешь.

Кормщику али юровщику крепкую душу надо иметь, чтобы на всех хватило, за всех он отвечает.

Вся печаль кормщику — по ему живут на промысле.

Примету помор ценит, веками проверена.

Ветры с берега волны не несут.

Моряна потянула — быть дождю.

Бухмарить зачало, жди погоды.

Марево на севере, жди полуношника.

Закипела в море пена, будет ветру перемена.

От ночи да у полуношника особо пылки ветра бывают, взводень-то от их рыдать зачинат, от их и пылит по океану.

На море ходи по ветру, не опасайся.

На море не свисти, полуношник враз свистнет.

Море кипит, рыбу сулит.

Загребальный зверь идет — промыслу удача.

Стар стал, а с морем прошшаться неохота, это как могилу себе копать».

Тяжел, а иной час и опасен был труд помора. Море— грозная стихия. А на его водных просторах или среди льдов рыбацкое, своей поморской крепкой стройки судно, на котором сам-пять или от силы сам-семь другов-товарищей на морской страде берут богатства моря, свой хлеб насущный. Коротко говорит помор о своем тяжелом морском труде, не хвалится и не расстается с ним. Необходимость, привычка и интерес связали их.

Без труда не проживешь и жизни не порадуешься.

Потрудился — дело сделано.

Трудишься хорошо — сам любуешься.

Работа веселит, когда удача идет.

Труд человека кормит и красит.

Рыбак вековечно своими трудами да потами живст.

Удачен промысел артелью.

Море пахать — рукам спокою не видать.

Что на судне, то и во дворе у хозяина хорошего: работы от зари до зари.

Погодливо на море, а и осенесь по рыбу идешь, кормиться надо.

Работа помора извека́ на море. Привычны.

Что ни говори, а от морской работы уходить не хочу. Привычка сызмальства и интерес.

Рыбак море пашет, мужик землю, оба всю жизнь в труде.

Тяжела работа помора, точно, а мне по сердцу, простор морской, вольно на море.

Без смекалки да сноровки на море не ходи.

У нас робята с пяти лет научаются с лодкой правиться, трудно сперва, а потом помор вырастет.

Малец с измальства к морю привычен.

Ране и девок к морю приучали, а ныне они отставать стали.

Ранее и поморки за мужика в море ходили.

Бабка сказывала, с Сороки на Соловки кормшиком ходила.

Дедова память у нас крепкая, по их пути идем.

По-новому жизнь идет, а дедов не забываем, нет.

Всего сам не спытаешь, от дедов многому учишься и дальше тоже смотришь.

Лежебоков на промысел не берем, обуза.

Бездельника не уважают и в море не берут. Прямо сказать, балласт в жизни.

Ленивы руки чужи труды любят.

Одними руками жизнь не построишь, смекалка нужна.

Не работяшша она и не хозяйка, а мужу не в помощь, и от ребят ей покорности нет. Одно слово — муха.

Муха и есть, вьется, зудит, надоеда одна.

Как тверезый, никакую работу из рук не выпустит и обходительный, а напьется — галить, куражиться зачнет, святых выноси.

Пьют с промысла, особливо с мурманского, до беспамятства, труд тяжелый запивают, иной раз заработок

весь пропьют, но пай рыбной от улова не трогают, на прокорм он семье».

Жизнь поморской семьи протекала в ее замкнутом кругу. Помор не обсуждал свои семейные дела на людях, поморки тоже считали: семейные дела — свои дела. Родственные связи были прочные, хотя нередко жизнь в семье для женщины была тяжелой, обычно в тех случаях, когда она молодой женой пришла в семью из другой деревни. «Обычай мужний молодой жене». Крепкие связи были между членами промысловых артелей, ходивших на весновальный промысел на Мурман, на Кедовский путь, на промысел зверобойный. В артелях, на промыслах, на строительстве промысловых судов вырабатывались требования к человеку, определялась его характеристика, устанавливались взаимоотношения. Все не по родству, а по делу, по труду.

«Человека уважать надо, от него все на земле.

С человеком надо обхождение знать, созидатель.

Память о человеке по его работе.

Зря человека не охаивай, отольется.

За вину человека поучи, а не заносись.

На чужое не зарься, свое потеряешь.

Честь не утеряешь, нигде не пропадешь.

Трудовой человек всему цену знает.

Труд да правда вместях живут.

Помор дом строит всей семьей да обществом.

Люба стройка без соседей не обходится.

Не будь товарищества — сиди на берегу.

При подмоге любое дело весело идет. С концом и попируешь вместях. Положена благодарность!

Помощь оказал, и тебя уважили.

Поразмыслишь — и у человека, и у животины, и у зверя, и у растения — у всех семья в основе жизни.

Человеку семья нужна, без нее род хороший вымрет.

Без семьи не жизнь, скукота и баловство у бессемейного.

Бессемейной женщине и вовсе совестно, никто в жены, в семью не взял. Одно: в монастырь идти, либо на чужих работать казачихой.

Мужик он молодой, а хозяин крепкий, и жонка его степенная, баска. Семья хорошая будет.

Парень-то жену выбирает, а девку замуж отдают. Вот и натерпишься в семейной жизни.

Свекровь не матушка родимая.

Свекру поклонись, свекрови снорови, золовок одари.

В дому мужней семьи своей воли у молодухи нет.

В мужниной семье са́мо зло — золовки.

Мужик этот кремень, что в деле, что в семье.

Ни с кем не шумела, все ладком, хорошая у меня жизнь семейная была.

Семейные дела не выноси на люди.

Раздоры в семье при себе оставь.

Поморки мы, на людях учены степенно держать себя. Работать ходко, споро — тоже учены. Сплётки у нас не в чести, а осерчаем, ни в каком споре не уступим. Но до волосянок не доходим (смеются). Не верьховски.

О себе много мнит — то и уваженья ему все мало.

Поморочки — девицы щепетильные, чего лишнего с ней не позволяют, наотмашь ручкой даст, а ручка ейная ой какая тяжеленькая. Пробовал в молодости (смеется).

Беда — пять девок в семье, приданого не напасешься.

Ребят в семье много — опечалуют старость родительскую, не горюем.

Шлянду в семью не возьмут».

Помор с детства привык к уважительному отношению к хлебу. Он от старших слышал, а потом и на опыте познал, что хлеб для него главная пища, без него не прожить. Знал он, сколько труда положено, чтобы вырастить зерно, обработать его и испечь хлебушко. Тяготы хлебороба равняются с тяготами рыбака. Их-то он на море познал с детства. Душевны поморские слова о хлебе, запечатлены в них красота и скромность человека труда.

«Хлеба крохи не оброни, святой труд в ней.

Ржаной хлебушко всем хлебам дедушко.

Хлеб на столе, так и стол престол, хлеба нет куска, так и стол доска.

Был бы хлеба край, так и под елью рай.

Без хлеба нет обеда.

Сытней хлебушка еды нет.

Хлебного поел — и сыт, и душу потешил.

Хлеб, вода да соль жизни нашей основа.

Не работник тот, кто обедает без хлеба.

Как наработаешься да исть захошь, так хлебушко

ржаной слаще пряника. (Это слова десятилетнего зуйка).

Поработаешь, и хлебушко тебе слаще.

Без хлеба на работе не потянешь.

Хлебушко работящих любит.

По трудам хлеб на поле родится, а рыба в море ловится.

Рыбак даром хлеба не ест.

Рыбку там да молошное едим, а хлеба не забываем, а нонешни смеются: поморы и кашу с хлебом едят.

С хлебом и зима не страшна.

Для всех хлеб дан одинакий, а робит всяк по-своему, есть таки людишки, которы норовят поживиться из-за чужой спинки.

Голодному хлеба не подать — себя обокрасть.

Голодному хлеба не подать — душу свою поганить.

Хлеб подавай просящему без обиды.

Не кажный просит от лености, больше от старости и болезни, не обдели его.

Закваску хлебную украсть грех большой, как сироту обидеть или родителей старых не уважать.

Три греха незамолимых: убить дитятко нерожоное, украсть хлебную закваску, украсть яйцо. Это как жизнь чью украсть.

Хлебом пренебрегать — святотатство. Это дед учил».

Разговор четырех пожилых поморок в Вирьме.

— Запах хлебушка избной, домашний.

— И еще запах хорошой, тонкой, любовной такой запах сена да трав разных.

— Мне по душе запах дегтем, он домовитый.

— А я самовар грею шишками для запаху. Иной раз и верес употребишь, ягоды синие вересовые тоже для того сушишь. Зимой с морозу или из бани прилешь, обязательно такой воздух устроишь. Приятно и дымком пахнет, и запах хлебушка печеного, избной и лесной вместях.

— Каравай поднести — большой почет оказать.

— От сердца гостю привет — хлебушка каравай.

— Ране хлебушко-то караваями да каравашками пекли, а ноне кирпичиками. Кирпичики они и есть, ни духовитости хлебной, ни скусу, черствеют скоро, а сухаря хорошего не дают, не рассыпаются.

Всегда помни: хлебну кроху уронить да не поднять— в жизни удачи не ждать.

Спокойно, немногословно говорит помор о смерти, сам о ней разговор не начинает. Спокойствие перед неизбежным выработалось на тяжелой работе, конец которой не всегда можно было предвидеть. Он мог быть и нежданным.

«От смерти не отмолишься.

Море возьмет, никого не спросит.

Смерти не зови и не гони, все в свое время.

И наживала, и теряла, и радости были, и гореванья всякого, а все не нажились, жить хочу, смерти в мыслях не держу.

Жизнь бока намяла, а о смерти и поминать не хочу.

Приходит смертный час и на море, а навечно лежать в землю тянет.

В смертный час тебя на море не отпоют, не оплачут и поминок нет; хоть и не слышишь сам, а все утешенье, как проводят тебя в землю почестно.

К старости жизнь понимаешь лучше, и меньше всего тебе требуется, и научить кого можешь, и молодому помочь. И нá тебе, жизнь кончается. Обидно.

Жизнь трудная, смерть тоже не потеха».

ЖЕНСКИЕ РАЗГОВОРЫ. Разговоры поморок в то время, когда они собирались только «своей замужней бёседой» в избе или на улке — на скамейке возле дома или на угоре, во многом отличались от немногословных, выразительно-образных обыденных разговоров поморов. Женские разговоры откровеннее, душевнее, многословнее, и поводов для них всегда было больше, частенько они сопровождались спорами, иногда довольно шумными. Примечательны женские разговоры еще и воспоминаниями об ушедшем навсегда, но еще живущем в сердце, в думах, в памяти. Передавалисись они обычно из уст в уста.

Разговоры поморок я записывала в разных деревнях, в которых приходилось заночевать или жить. В Сюзьме в конце августа в ветреный день собрались в избе Деревлевых пять женщин, все однофамильцы. Они прислушивались к ветру, поглядывали на море — их мужики были на промысле. Для успокоения всех решили затеплить лампаду у Николы: «на сердце легче». Разго-

вор пошел о делах семейных. Я, как пришлая, только слушала.

— На море погода, сильны валы бьют. Море сбелело. Наши-то, надея у меня, к прислону какому стали. Утресь ешшо показывало на такое дело на море. Тимофей наш учтет, знаюшший. То и ходит кормшиком пятый год. Тревога у нас большая. Это я для тебя, Ксенья, говорю. Матери у ребят нет. Кончилась осенесь. Внуки на мне. Их пятеро, три парничка, две девки. Старшему четырнадцать, самой малой два годка. Рукам отцовым спокою нет. Прокормить, одеть, обуть всех надо. *(Марфа Семеновна)*.

— Тебе, Марфа Семеновна, тоже хлопот немало. Ребята, поди, балованы. *(Евлампия)*.

— Что там домашни хлопоты, навыкли. Ребята отцом научены. Дрова, вода, сена́ — не моя забота, парни все сделают. Девка старшая, ей девять годков сполнилось, за малой смотрит. Отец-то строгий. С промысла придет, со всех спросит, как жили. Ко мне уважителен. Все же большуху в дом надо. *(М. С.)*.

— Нову жену, Семеновна, на пятерых ребят не скоро сышшеш. Твой век не вековечен. Разве вдовая какая, либо в девках засиделась, пойдет на таку семьишшу. *(Ев.)*.

— Ему сорок годов ешшто только подходят. Молодой, он многим бы девицам подходяшш, да ребятишшато. Орава. *(М. С.)*.

— Ничего, Семеновна, найдет Тимофей жену ладную, не у нас, так в других деревнях поишшет—посмотрит. Хозяйство в порядке, все в дому и во двори есть, на местах. Мужик по всей деревни из хороших. *(Стеша)*.

— Не знай. Может, годину подождет, через четыре месяца справим. Мне-то как быть, не егова я матерь, а женина была, дочерня. Дом мой, все строение мое. Не в его родительском живем. Он к нам в примаки пришел. Дочь у нас одна была. В ихной семье пятеро сынов, Тимофей молодший из братенников. Да ешшо две девки были, чего ему было ждать. Дочери нашей полюбился, сам он нам подходяшш, хозяйственный. В пару они были, жили семейно. Тоснул он, как жена померла. *(М. С.)*.

— Семеновна, ты не задумывайся. «В своем дому живу», — так скажешь, коли что. И ребята не отстанут от бабки. Это уж верно. *(Ст.)*.

— Не его я опасаюсь, ту, которая хозяйкой придет. Нонешни невестки своевольки *(М. С.)*.

— У Тимофея не посвоевольничаешь. Так говорят, кто с ним в море ходит. Разве кака молоденька любовью присушит. Тут у мужика в его годы голова кругом. Это точно. Обойдет она его. *(Ев.)*.

— Не замечала за ним интересу к вертёшкам. Шестнадцать лет под одной крышей живем. *(М. С.)*.

— Без шуму жили или бывало? Рукам волю-то когда давал? *(Ев.)*.

— Он молчажливый, и она смирна. Отец, муж мой, и не позволил бы шуму, а за драчливость живо бы домой к родителям отправил. Ничего бы не дозволил срамного. За сына он нам был. *(М. С.)*.

— Ишь како житье. Разведусь и в невестки к тебе пойду. *(Ев.)*.

— Приглашенья тебе не даю. *(М. С.)*.

Сюзьма, 1913 г.

Разговор на болоте во время сбора морошки.

— Вольна птица я теперь, жоночки. Обоих девиц замуж выдала, мужья хорошие, самостоятельные. Девки сами выбрали. Сама-то я была выдана за мужичонку росту малого, худящего, пьяницу ленивого. Дом, карбас, корова, лошадь у его были от родителей. Вот меня и выпехнули. И из-под этого негодящего мужичонка я двух хороших девок родила. Он скоро кончился, третьего и не было. Хватит. *(Лена)*.

— Девки-то у тебя хороши. В другого отца они, поговаривают. *(Марьюша)*.

— Болтай, Марьюша, я не слушаю. Морошку беру. *(Лена)*.

— Ой, жоночки, языкаты вы. *(Агафья)*.

— А што, веселый разговор, никто не осудит. Сами про себя и про других знаем, как они солдатками были. Помалкиваем. *(Лена)*.

— За веселым разговором без старых-то жоночек и морошки набрали полны набирухи.

Шижня, 1952 г.

— Об одном жалею в жизни своей. Все у меня было хорошо. Богачества не было, а по своей работе всё завели. «Как работал, то и заработал», — это еще отцовы слова.

— О чем жалеешь, коли жили хорошо?

— Училась мало я. Читать газеток не могу. Длинно пишут, и слова есть непонятные. Не все пойму. Мне сполнилось семьдесят четыре. Интерес к нонешней жизни есть, а всего не вычиташь. Вот и жалею об учебе. Потомство мое все выучено.

— Внуков полна набируха, школы кончили. Пусть читают.

— Не заставишь со старухой сидеть нонешних внуков. Свои дела у всех. Радиво у нас на деревне плохое. Вот беда. Время есть послушать. Вязать носки да рукавицы для внуков куда как хорошо, как радиво говорит. *Шижня, 1952 г.*

— Не по любви я замуж шла, отдали родители за вдовца. Мне восемнадцать, он на десять лет старше. Дом у них справный, пятиоконный, корова, овцы. В дому свекор, дочерь шести годков была и сынок трех. Сам-то табакур, выпивает с отцом вместях. Оба на бранные слова скорые, ругливые они. Как заведут промеж себя ругаться — ухожу с ребятками на поветь. Это все мне, молоденькой, как переносить. Пятый год терплю. Драки на меня с детьми не позволяют себе никогды. Ребята ко мне прильнули. Своих нет у меня. Хотела бы своего-то дитятку. *(Настя)*.

— Да, жоночка, с чего это родители тебя так из дома выпехнули? Не прежни времена. *(Лиза)*.

— Наревелась я, просила отца-батюшку не губить. Радости мне в справном дому нет. *(Настя)*.

— Ты, Настена, чего распелась о худой жизни в едаком дому своем справном. Распелась о семейных делах. Не шла бы — и все тут. А как вышла, обзаконилась, так и терпи. Не жалься на людях, не срамись. *(Евдокия Степановна)*.

—Стерпится—слюбится, так, бывало, старые нам, молодым говорили. Верно говорили. Мы с мужем сорок пятый год живем. Дети, внуки, правнука два. Семейство. Уважительны к старикам. А замуж шла, жениха только за семь дён видела перед венцом. Все хорошо обошлось, привыкли и слюбились. Он на сторону никогда не смотрел. Ты, Настена, не горюй. Ребят держись, они тебе помогой будут. Жалишься перед своими — не упрек это тебе и срамоты нет. *(Наталья Николаевна)*.

Шижня, 1952 год.

— Робята одолели, замужем я восемь годов, а ребят уже четверых принесла. *(Лиза).*

— Хорошо в семье многодетной. Понапрасну жалишься. Кто в старости печаловать, харчить будет? Дети родные. Беломорское наше установление не нарушено. *(Марфа Николаевна).*

— Ты, Марфа, отнянчила, отводилась, по тебе и хорошо. На четвертом раненько зареклась, пято не будет. Годы уже не те. А мне что впереди — не известно, молодые мы. *(Лиза).*

— Мы, жонки молодые, жизни за ребятами не видим. Родители наши заботились семью большую нажить. Очень семьи большие уважали. Бездетных-то жалели, говорили: «Без птенца гнездо не гнездо». Я сама не пойму, к чему ораву ребят наживать. Троечки хватит. Ноне можно останавливаться. *(Устюша).*

— Робята у меня выращены до женихов и невест. Свадьбы скоро играть надоть. Подготовлены мы. Девки одна за другой полетят в разны стороны, в други деревни. Женихи присмотрены. Сына отделять не будем. Старший женат, отделен. С меньшим мы со стариком остаемся в отецком доме. Внуков буду ждать, в спокое жить. *(М. Н.).*

— Ты еще до внуков у детей нагостишься. Желанна гостья. Вот како приволье. А там внуков от четверых в зыбках тебе, бабке, качать. Бабки на разрыв, да не в гости, а к делу. Приволье-то и улетит. *(У.).*

— И покачаю, своя кровь, свой корень. *(М. Н.).*

— Нет, жоночки, хватит мне четверых. Хочу и в кино, и в клуб сходить. Помощь она есть, только деньги-то времени не прибавят. *(Л.).*

— Ты-то решила, зареклась, а мужик твой как? *(М. Н.).* *Летний Наволок, 1952 год.*

— Поморки крепки в семье. Люб не люб мужик, держится его жена, семью не рушит. Осужденье тому ране было, кто рушит. А потом баловство пошло. Свобода какая-то, кого люблю, за тем и иду, а семья побоку, на вторых ролях. Внушать стали — церковное благословение для семьи только обуза, отсталость это, плен пожизненный для женщины. Говорили, что просвещают нас, темных, отсталых и забитых. Нет, поморку не забьешь.

— Верно, сперва парни, да и некоторые молодые мужики на сторону поглядывать стали, а потом и молоденьки девки. Осуждали мы, которы постарше, такое просвещение. Девок балованных в свой дом не брали. Споры были с сыновьями.

— Теперь-то в колею просвещение вошло. Разводы осуждают. Обзакониваются в загсах и сельсоветах записываются. Свадьбы справляют, а справил—так и семью умножат. И управа на мужиков есть, бить не смеет, сейчас урезонят. Да и мужики сами опомнились. В Беломорье мужиков за битье осуждали. Мирно в семьях жили, от старых родителей это шло. Драки — городская зараза.

— Бывало, побьет, а ты терпи, сдачи не дай. Мужик сильнее жонки. Только когда придет домой, лыка не вяжет, тут ему не одну колотушку поддам. На утро дивлюсь: «Кто синяков-то наподдавал тебе». Молчит либо заорет. Тут я молчу. Редко, а бил спьяну. Скоро два года как помер. Поминаю его только хорошим. Тут, в разговорах, о битье к слову пришлось. Не попрекаю его. И хорошего немало в нашей жизни было. По любви замуж шла, и он выбирал, чтобы по сердцу жить. Да и ребята у нас выросли правильные.

Летний, 1953 год.

— И чего-чего за жизнь свою не изведаешь. Смолоду много чего придумывается о жизни своей замужней. Прижалается всего. Теперь старость пришла, подумаешь и увидишь — все было как положено. С малолетства и до старости все в работе. Ране в няньках: братьев, сестер меньших нянчишь. Это с пяти лет уж как пить дать. Подросла —на рыбу. В замужестве — обрядня. ребята один за другим. Было их у меня девятеро, как и в отцовой семье. Три раза я двойняшками приносила. Маломощны были и отцова, и моя семья. Выбиться не могли, а мужики не пьяницы, рук не покладали, жонки тоже хозяйственны. Ребят много. Я получала на них пособие большое. Мать ростила без пособия, еще не было его.

Мужик мой хороший был, на войну пошел из запасу, а не вернулся. Где лежит, не сказано. Старшему сыну было шестнадцать. Того и жди, возьмут на военную, старшим дочерям-двойняшкам по четырнадцати, а малой четыре годика. Пензия, льготы были, пособия назна-

чены. Мы сами — артель. Вот и выбились. Мужик мой легкой жизни не повидал. Я-то живу в довольстве, все ребята помогают.

Поздно я замуж шла, на двадцать восьмом году, после всех сестер. Молоденькой девкой задумала купить ленты широкие, длинные к почёлку, в каком к венцу пойду. По копейке на них откладывала, копила, таилась. За восемь лет десятку накопила. Лентам все подивились. Я в Онегу ходила покупать. Замужем была, тоже эти ленты вспоминала. Как подумаю, ленты-то самое большое удовольствие в моей жизни и были. Теперича у девок моих ленты не ленты, косынки разные. Не хуже городовых. Как бы шляпки себе не завели. *(Степанида Алексеевна).*

— Да, жоночки у нас в девичестве были нарядны: холсты своетканы, ситцы да на один сарафан канифасу. *(Парасковья).*

— Не скажи, матери-бабки нам в придано свое придано оставляли. Коротéнька мне была дана парчовая, сарафан — тот похуже. Был старый наряд красивше нонешнего. Платья какие были, шерсть была, шелка разноцветны. *(Ульяна).*

— Это у кого как, у тебя сорок платьев, а у меня два сарафана на лямках и платье одно ситцево, другое полушерсть. А с мужем хорошо, не в пример тебе, прожила. Ребята теперь на виду за работу. Обеспечивают стариков. *(Варвара).*

— У тебя, Варуха, язык что ботало. Сама не знаешь, что отзваниват. *(У.).*

— Задело тебя, Ульяна, богачество у тебя было, да сплыло, и ребята твои где, ты сама не знаешь. *(В.).*

— Не шуми, Варвара, тяжелая у меня теперя жизнь. Одна осталась, старая, озлела. *(У.).*

Беломорск, 1954 г.

— Ты, Марьяшка, чего зазналась? Высватали, так и вознеслась. Ничего, в том дому большухой не станешь. *(Зина).*

— Метила ты на Федора и промахнулась. Не по себе захотела сеть закидывать, Зинаида. *(Мария).*

— Помалкивай, и тебе на покосном ветречке жить. *(З.).*

— Не раз правило держала, справлюсь. *(М.).*

Ненокса, 1961 год.

— Ноне ко мне Наталья заходила, звала на свадьбу меньшой дочери. Теперь все пристроены. Эта свадьба — последняя — шестая.

— Хороша эта жонка. Ее с малых лет знаю. Замуж она выходила, парень не очень правильный был, запивал, загуливал. А такой видный с фронта пришел, медали, ордена. Она девка красивая, самостоятельная. Женихов только выбирай.

— Жоночки, забыли вы, как она его от загула-то отважила. Ну, прямо в узду ввела. Сама хозяйничает, везде поспела, дом его запущен был, она его наладила. Чистота, порядок. Сама в наряде.

— Не только домом да хозяйством она его взяла. Любовь у них была. Без ругани отвадила его от всех любанушек. Тем, другим приваживала, придерживала. Шестерых ребят выростили. Приучила его и отцовски дела выполнять. Ребята всему выучены матерью и отцом.

— Уважительность ей ото всех. Хорошая жоночка. То и выбирают ее разны проверки проводить. Он из ее рук смотрит. Старый теперь, она его моложе на десять, а то и на двенадцать лет.

— Не пойму, что деется. Куда народ из деревни бежит. Это в войну деревню жали. Понимали мы, терпели, для своих работаем. Армию кормить, обуть надо. Теперь облегчение, меньше жмут, а люди бегут, не работают.

— Бегут потому, что мало еще нашей поморской деревне вниманья. А чем город жить будет без деревни? Ситцем, самоварами, зеркалами сыт не будешь. Придут обратно, в ноги будут кланяться беглецы эти: пустите в отцовы дома.

Семжа, 1969 год.

— По любви замуж шла. Нравился парень, и он на меня заглядывался. Не один денек погуляли по угору, дале я не шла. Осенью посватался. Все было справлено по-хорошему. Свекрова хорошо встретила, одарила. Жили согласно пять годков. На шестой год пошел он на зимни работы в Кемь, на завод. Там-то все у него и началось, свернулся он. Пристала жоночка молодая вдовая. Ну, мужик молодой разве стерпит. Она, видно, крепко приглянулась. Письма перестал писать, а там и деньги не стал слать. У нас два мальчишечки. На весен-

ни работы не пришел. Свекрова и послала меня в Кемь. Встретились, все я и распознала. «Не пойду, говорит, домой. На заводе жить буду». Я ему про ребят, сама реву. А жоночка та стоит невдалече. Руки под грудями сложила, смотрит, усмехается. Видная такая. Я было к ей кинулась со злобой. Мужик за мной, как кинет меня наземь в сторону безо всякой жалости. «Не уйду, говорит, от лапушки и заводской жизни. Дом, скотина тебе и ребятам, а я тут». Ушла я домой. Свекрова через год померла. Сын хоронить не приходил. Стала горевать я одинешенька. Хозяйство не рушила, ничего из дому не убыло. Еще год прошел.

На третий год он заявился. Лапушка к другому ушла и все нажитое им унесла. Он обтрепался, все именье в небольшом мешочке. «Пил, говорит, горе заливал. Некуда деться, прими в работники». Больше тогда ничего не сказал, не винился, ребят не приласкал, только посмотрел. Я ему ответила: «Пришел в свой дом, живи, только дальше клети на повети тебе ходу нет. На еду приходи в избу, с нами за стол сядешь. Это в память твоей матери, свекровушки моей. Полгода так жили, работал хорошо, сам видит, где что сделать. Все молчит, задумывается. Поверьте, все люб мне с самого приходу. Подошла зима, запустила я его в избу спать. Говорю ему: место на полатях. Он глянул на меня, да в ноги мне и пал. Теперь скоро год вместях живем. Хорошо хозяйствует. А вот ребята все к нему не привыкают, точно как боятся его. Не знай, как и быть.

— Все про тебя знаем, крепкая ты жонка. Могла бы тоже без его найти себе мужика. Сколько вокруг тебя ходило.

— Прикипела к первому. И отчима сынам бы никогда не дала. Может, отец и отойдет сердцем. Они к нему не ластятся, а он отвык от ребят. На заводе, все какие были, бездетные. Жены с ребятами по деревням оставлены. Семье на заводе негде жить.

— Ты поговори ребятам, чтобы к отцу шли, да и ему скажи: «Сыны-то слова ласкового ждут. Что медведем живешь. Поучи их хозяйским делам». С этого начинай. Не ругайся.

— Не знай, как и подступиться. Не ругаюсь и попреков от меня нет.

— Учиться я хотела дальше. Батюшко сказал: «Хва-

тит, в дому матери подмога нужна. Телку продавать не будем. Во двори две коровы будут. Без учебы хорошо тебе за коровами ходить, да по дому что делать, две девки и так в школу ходят. А ты, старшая, уже отходила». Это еще до революции у нас так было.

Так и кончились мои мечтания. За коровами да за овцами до замужества ходила. В замужестве родила двоих дочерей и двух сыновей. Всех выучили, не старо время, свет не в одном коровнике. Старшая дочь фельдшерица, младшая в десятилетке, старший сын на агронома кончает, младший слесарит. Вот только помочи мне по хозяйству нет. Одна старуха бьюсь. Да ныне мы без коров, с фермы молоко берем.

— Уйдут твои ученые деточки, не будут в деревне жить, в город нынче всех тянет.

— Тоже это подумываю. Опасаюсь.

Колежма, 1962 год.

— Люблю в лес ходить, на болотца тоже. Грибы-ягоды беру. Для хозяйства. Для души люблю на травы, цветки смотреть. На желтенький, из первых он, еще земля вовсе не просохла, а он на лугах из земли уж и вышел. Лист как вырезан, а цветок кочешком, листочек на листочек находит, прикрывает один на другой вершинками. Дух ароматный, в букеты беру. Помаленьку, две ну там три ветки. Не на веники, на украшенье. Недолго стоят, вольный воздух нужен.

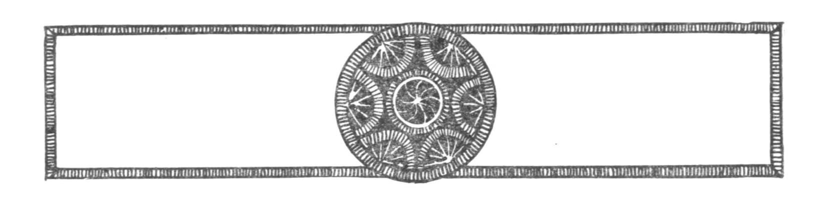
Ребята к чему-то бомбочками прозвали. Не надо бы так, от войны это. Еще собираю материнку, сушу и пью замест чаю. Искать ее надо, лесная она, мало ее.

— Откуда у тебя, Петровна, это, травы-то знать? Хорошие советы даешь по травам.

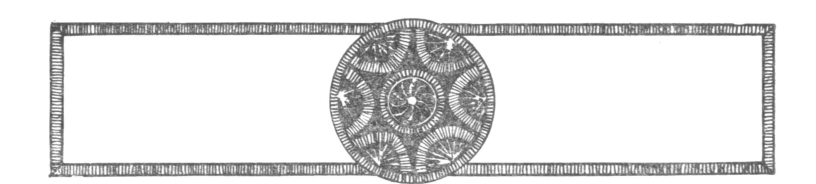
— От матери моей, у ей от своей матери, семейное. У дочери моей другой интерес. Хочет на спорт идти. Мяч закидывают, гоняют.

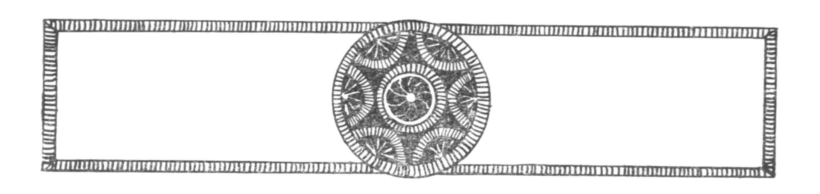
— Сами жизнь выбирают, их дело. Наши советы и не говори. Все по-своему сделают. Им жить — не нам. Только бы все было хорошо.

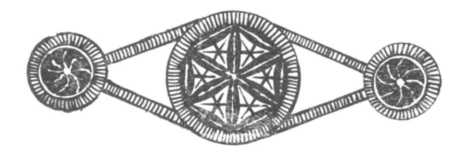
— Есть такие люди, что не горюют, забыли все. Другие до смерти своей все помнят. Горя избыть не могут. Точит оно сердце, голову сушит, память о другом отбивает. О доме, о семье забота уж не та. Сидишь, как ничего нет округ, кабыть с тебя и спросу нет. Так мужика своего и двух сынов в сердце держу. Легли в чужую землю.

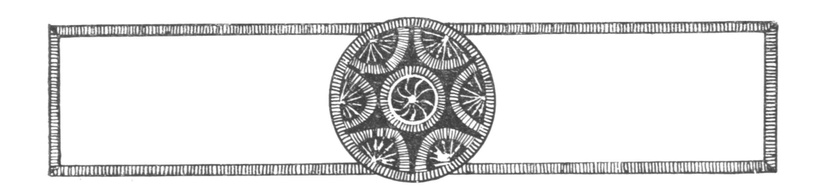


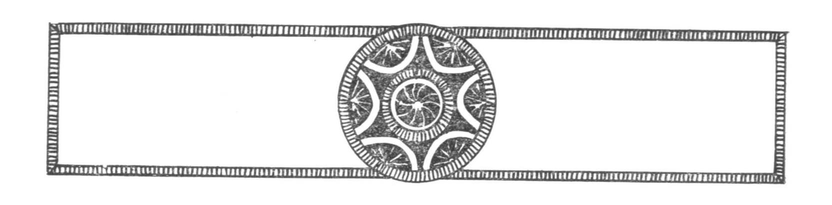
ПЛАЧИ











Высоко ценилась и ценится образность речи на Севере, особенно в Поморье. В далеком прошлом слово в этом краю было доступнее других способов выражения чувств. Здесь и встречаем мы творцов слова силы необычайной. Они передают глубочайшие чувства человека, не передаваемые никакими другими средствами, даже музыкой.

Были у меня встречи с такими талантами, с безвестными импровизаторами, плачеями — горя утешительницами. Эти встречи забыть нельзя. Имена тех, кого я знала, и их плачи не упоминаются ни на страницах специальных трудов, ни в журналах и газетах. Они не сказывали былин, не пропевали стародавних песен, не тешили сказками и небывальщинами. Они были рядовыми труженицами-крестьянками и не подозревали о том, что владеют словом великой силы.

Их редкостное творчество проявлялось только в особых случаях — трагических, скорбных. Они как-то пронзительно и глубоко воспринимали печальные события, с которыми сталкивались в быту, в жизни, непосредственно их окружающей. Они обладали поразительно точным словом, верным тоном, сдержанным жестом, талантом, всем обликом выражать не только личное горе, но и чувства, которые они переживали, сталкиваясь с горем чем-то близких людей — по родству ли, по соседству или местожительству. Дар плачéй — человечность, тонкость и глубина чувств, способность сопереживания и стойкость душевная.

Плачи их неповторимы. Они складывались, вернее, возникали, как-то стихийно, отдельно для данного слу-

чая. «Глаз о чем скажет да что сердце говорит, о том и плачемся. Самой тяжко плакать, да сила какая-то толкает, слова подсказывает. У матери родной либо у жены горе-то душу сожмет, окаменеет она. А поплачешь ей, и она слезу обронит, тоску свою облегчит», — говорила Дарья Николаевна Свинцова с острова Свинец.

Запомнились плачи ее и Марфы Деревлевой из Сюзьмы. Это воспоминания первого десятилетия текущего века. Рассказы А. Майзеровой из Яреньги и А. Марковой из Семжи о плачеях я записала с их слов позднее.

Плачи поражают, потрясают не только силой слова, от которого рвется сердце материнское, но и тайной его передачи. И слово, и передача рождаются трагедией неизбывного горя по утрате невозвратимого и незаменимого.

В 1909 году летом в Сюзьме погиб на море юноша семнадцати лет. Гроб с его телом стоял на паперти церкви в Неноксе. Родные сидели на скамье в изголовье гроба. Провожающие отходили в стороны, стояли у стен молча, неподвижно, сосредоточенно. Плакала по нему М. Деревлева. Она неслышно, не торопясь, вошла на паперть и встала у притолоки входа, одинокая, отрешенная, чуждая всему. Была она в черной одежде, черный плат повязан по повойнику в роспуск. Вошли все провожающие, двери на паперть закрыли. Было тихо и печально.

Плачея медленно пошла и встала в ногах домовины, как-то сутулясь, опустив руки, точно что-то угнетало ее. Она смотрела на усопшего. Плач она начала спокойно, негромко, медленно, раздумчиво. Слова, которые хотела выделить, несколько растягивала, произносила более замедленно.

А рубашка-то на ём белая,
Снегом по весне её мать белила,
А личушко белее снега того,
Губы-то сомкнуты нецелованные,
Уж не закрасеют они боле,
Глазыньки померкли-прикрылися, не взглянут,
Не увидят моря Белого, леса темного,
Не увидят и звезд на небе,
А бывало, как небо вызвездит,
Заиграют звезды яркие,
В снежки игрывал с други-товарищи,

Девиц-поморочек с гор катывал.
Молод был, а на промысел с отцом хаживал,
Кажинный год за помощника хаживал.
Море наше неласковое осваивал,
Не страшился погоды, волны,
Добытчик надёжный рос-подростал,
Да молод был, не привел ещё
К отцу, к матери свою суженую.

После этих слов замолчала, а потом без слов зарыдала: «Не привел, не успел, не дожил». Слова «не успел, не дожил» повторила дважды с тоской и силой, и после недолгого молчания, растягивая слова, тихо повторила: «Не дожил». Это была безнадежность.

Во время этой части плача она руки сложила крестом на груди. Замолчав, широко раскрыв глаза, медленно пошла по направлению к родственникам усопшего, протягивая руки, как для объятия. Мать усопшего в слезах порывисто поднялась во весь рост, наклонилась вперед и напряженно вглядывалась в плачею. Возникла какая-то смутная тревога. Присутствующие насторожились, но никто не подошел к родным, не из равнодушия, нет, но из уважительности к их горю.

Плачея, постепенно усиливая голос, как-то беспощадно жестоко обратилась к матери:

Не избыть тебе горюшка материнского,
Утеряла своероженного, своевскормленного,
Утеряла кормильца и поддержку в старости,
Не бывать возврата утере той.
Не видать тебе счастья сыновьего,
Не нарадоваться на невестушку-лебедушку,
Утеряла ты утешение внуков выходить.
Горе-гореваньице тебе переживать,
Вспоминать сына до своего скончания тебе,
Сердце свое надрывать тебе,
Слезы горючие лить тебе.
Тебе, мать родная.
Так повелось.

Мать схватилась за голову, забилась над гробом, рыдая в голос. Плачея долго молчала, а потом проникновенно, раздельно, с сожалением и страданием грустно молвила:

Нет тому перемены, горемычная,
Так повелось испокон веку.

Она выпрямилась, голову откинула назад, черный плат сбросила с повойника, взяла его в руки за два конца, руки распахнула в стороны, как крылья. Голос, осо-

бенно глубокий, простые слова, выразительность, с какой она их произносила, не только донесли горе матери до всех присутствующих, но и каждому напомнили о его былых и возможных утратах. Присутствующие по-прежнему молчали в каком-то оцепенении. Давило это молчание, но никто его не прерывал.

Но вот плачея обернулась к присутствующим и, никого не замечая, то распластывая руки в стороны, то с силой прижимая их к сердцу, в слезах зарыдала с безудержным отчаянием:

Море ты наше неспокойное,
Кажинный год жизни забираешь,
Жен, матерей обездоливаешь,
Детушек малых сиротишь,
Невест радости лишаешь.
Горе несешь неизбывное, печаль великую.
И что ты, ветер, спокой редко знаешь,
Как с полуночи задуешь, засвистишь,
Волну вздымаешь высокую, пеной пылишь.
Ох, и страшна волна морская,
Холодна, темна, солона волна глубинная.
Встанет выше мачты, шире паруса.
Нет ей удержу, утешения нет,
Не поставишь ей запрету,
Запрету не поставишь, не умолишь,
Бушевало и будет бушевать наше море.

Плач о море как-то снял оцепенение присутствующих, многие вздыхали, плакали, переговаривались.

Плачея же сникла, она потухшим голосом, растягивая слова, закончила:

Но душа помора знает,
Море — наш кормилец.

Да, у помора прежде все было связано с морем. И жизнь, и смерть.

Плачея, бледная, с запавшими глазами, тяжело дышала, пошатывалась. Ее подхватили под руки, посадили на скамью и накрыли платком. Она молча сидела до конца отпева. Ее отвезли домой, она легла, неподвижная лежала сутки в дремоте. На следующее утро встала и принялась за обычную работу — обряжаться по дому и в огороде.

Она редко соглашалась плакать, и только по взятым морем из своей деревни.

ПЛАЧ МАТЕРИ

Довелось мне еще слышать трагический плач, стержневая мысль которого была «нет правды в христовом утешении».

Плакала мать по сыну-мальчику. Это был протест против несправедливости судьбы, против матери христовой, всех скорбящих утешительницы, но сердце матери, потерявшей единственного сына, не утешающей. Это был протест против утешений, только ранящих душу безутешную.

Тяжко было слышать этот плач, но сила и глубина чувств, выраженных словами, рожденными отчаянием, гневом, безнадежностью и материнской любовью, завораживали, заставляли слушать. Они бередили раны каждого сердца, трагичность очищала помыслы каждого от мелкого и недостойного, и каждый понимал безутешность великого горя матери. Плакала Варвара.

Варвара осиротела в одночасье, мать и отец умерли в холерный год. Утрату она пережила тяжело, в суровом одиночестве, родственников у нее не осталось. Ей исполнилось двадцать лет. При жизни родителей она невестилась уже три года, женихов было немало, из различных деревень, но ни на ком она не остановила свой выбор. Родители не неволили свое единственное дитятко. Невестой же она была завидной, всем взяла — рослая, статная, сероглазая, белозубая, русая коса. Но не часто она улыбалась по-девичьи открыто и приветливо, а смех ее, и то редко, слыхали, пожалуй, только мать да отец. Усмехаться усмехалась, губы дрогнут, а не раскроются. Не понять было, осуждала то, о чем слышала или что видела, а может, так, отстранялась. Суровая, деловая была, матери по хозяйству во всем помогала. Мать повздыхает втихомолку, где же девичьи радости у дочери, а спросить ее об этом не решалась. А дочка по вечерам, в одиночку, частенько ходит на угор. Стоит и смотрит на море, такое тихое белой ночью, воды не колыхнутся, чуть золотятся при закатном солнце, тишь кругом. А в иной день море белопенное, шумит, бьет накат, свистит ветер. Откуда, почему это? Всегда море ее чем-то влечет. Смотреть да смотреть на него. И тешило ее еще — быть на отличку, краше всех, удивлять нарядами, на каждый хоровод новыми.

С отцом на его двухмачтовой шхуне она не раз ходила и на промысел, и в Архангельск, и в Норвегию. Возвращалась с подарками, отец на них не скупился. Дома и сундуки, и укладки, и короба были полны приданым, дюжинами все заготовлялось, а шали и полушалки на все случаи. Были материнские и бабушкины сарафаны, парчовые коротéньки, старинные почелки, шитые жемчугом, ожерельица, заколки жемчужные и с самоцветами. Шубы и шубейки.

Оставшись одна, Варвара прикинула, что оставить в хозяйстве, продала шхуну, весь рыбачий обиход на «большую рыбу», лишнюю животину. Все же дом был полной чашей. Дел было невпроворот, надо вести промысел, домашнее хозяйство. Поразмыслила, разыскала свою крёсну матушку и пригласила ее погостить-похозяйничать. С весны до осени Варвара в делах, теперь она сама хозяйка, а не только «при отце», два суденышка у нее, она рядится с покрученниками, договаривается с кормщиками о промысле, закупает муку для торга с норвежцами, у них берет рыбу, продает ее архангелогородским скупщикам. В большие праздники по-прежнему, как молодая, ходит на хороводы, значит и забота о нарядах не отпала. Правда, замечать с годами стала, что как-то изменилось к ней отношение участниц хороводов. Думала, не ровня она им, а в чем не ровня, не додумывала, не хотела, а может быть, и страшилась. Так промчались восемь лет.

В июльский престольный праздник водили девушки большие хороводы, пришла и Варвара, красивая, нарядная. Встала в ряд с другими девушками. Запели любимую раздольную песню «Море, морюшко прекрасное». Затем пошли в круг, пели «Загуляли девушки в хороводе на лужку». Вдруг услышала Варвара: «Что это ноне старые девки хороводы водить стали». Замерло сердце: сразу поняла — это про нее, это она, старая девка, затесалась среди молодых девушек-невест, это ее осудили при всех, ее, Варвару, первую красавицу. Многие услышали осуждение. Уже переглядываются девушки, перешептываются замужние. Срам какой, как не сообразила сама, давно надо было кончать молодиться. Не показала ничем Варвара, что услышала приговор себе, незаметно, в толпе, вышла из круга, спустилась с угора на пустынный берег — и к дому. Скорее укрыться за родными стенами.

Тревога не покидала Варвару. Однолетки ее давно обзавелись семьями, дел домашних у них много, только некоторые изредка заглянут мимоходом, не погостятся. Ребятишки соседние не приходят играть на ее большое крыльцо. Отвадила сама, чтобы покраску не изнашивали, грязи не носили.

Мысли горькие томят ее. «Дома все в порядке, а порадоваться не с кем, некому пожалиться. Кругом тихо. Да не тихо, а пусто, пусто кругом меня. Как в колодец гляжу, вода темная стоит. Как жить, что дальше? Одна осталась одинешенька. Замуж сманивают, да сватают-то парни, что только со службы пришли либо в рекруты им идти, все меня моложе. Пойдешь, будет думаться: взяли тебя, старую девку, из милости, за богатство. Не стерплю над собой такого верховодства. Поглядывают мужики и постарше — либо вдовцы с ребятами, либо тишком от семьи. Не по мне это, на ребят не пойду, не по мне и в чужую семью смуту вносить, любушкой не буду. Осталась бессемейной, не о семье забота у меня была, красоваться хотела. Винись теперь».

Тут подошла матушка, оживленная, и стряпня у нее удалась, и хороводы посмотрела, и наговорилась с соседками. «Хороводов лучше наших нет, девки одна к одной, наряды стародавние, выхвалялись, у кого лучше. Парней много. Не одна невеста жениха нашла».

Варвара усмехнулась на последние ее слова: «Ладно, матушка, мы с тобой вековуши. Отведаем лучше пирогов да чаю попьем. Ждать, угощать некого». Ночью вековуша тосковала.

Через два дня забежала к ним соседка-молодуха с просьбой к матушке поводиться часика два с ее первенцем, десятимесячным мальчонкой. Матушке это было не впервой, она взяла ребенка. Малыш уже тянул к ней ручонки, а она улыбалась ему. Варвара же, сидевшая в горнице у стола с шитьем, равнодушно взглянула на него и только спросила: «Как звать-то?» Малыша посадили в горнице на пол на старое одеяло. Он быстро подполз к ногам Варвары, она протянула руку, чтобы отстранить его, а он уцепился за ее палец, не отпускал и улыбался ей. Варвара подняла его, чтобы отнести в избу к матушке. Малыш шлепал ее ручонками, она невольно обняла его и подумала, что первый раз в жизни держит ребенка на руках, а он такой теплый, молоком пахнет.

Вечером, уже в постели, Варвара вспомнила малыша и улыбнулась. Сон пришел легкий, беспечальный. Днем руки Варвары все еще помнили тепло его тельца, воспоминание не исчезало и в следующие дни, больше того, она припоминала его улыбку, его плотные, налитые ручонки. Зимним тягучим вечером мелькнула у нее мысль: «Взять бы такого в дом, но кто же отдаст своего кровного». Шли недели, мысль о ребенке приходила чаще, становилась определеннее, и наконец она решила: «Заведу своего, сама себе хозяйка, что мне пересуды».

Под осень по промысловым делам была она на Рыбачьем, там собиралось много артелей промысловиков, были и норвежцы. Один из них, хозяин шхуны, приглянулся ей, хорошо говорит по-русски. Промышленник тоже поглядывал на нее. Три раза тайно встречались они, а затем она на попутном судне ушла домой.

Дома она жила в тревожном ожидании, но надежда на счастье не оставляла ее. Скоро ожидание сменилось уверенностью, что у нее будет сын. Счастье уже тут, в доме. Надо приготовиться к встрече с ним. Пригодились запасы сундуков и укладок. Варвара внимательно отбирала материалы для детского обихода. Матушка поглядывала неодобрительно, поджимала губы, но скоро и ее захватили заботы Варвары, обе принялись за шитье приданого будущему мальчишке. Иной день Варвара, сложив на коленях руки, сидела без дела, то задумавшись, то слегка улыбаясь. Она всем существом отдавалась своему счастью, будущему материнскому счастью. Потом спохватывалась — еще не приготовила корытце для купания дитяти, своего Петруши, не пересмотрела сушеную ромашку и шиповник, не подопрели бы, а соски из города выписывать надо. Это все приятные, милые сердцу заботы и хлопоты. Больше бы их.

В начале июня ясным утром появился на свет долгожданный Петруша. Матушка звонко шлепнула мальца, обмыла, укутала и со словами «хорош паренек» принесла его и положила рядом с Варварой. Блаженство, тихую радость, покой — чувства, не знакомые прежде, — испытывала Варвара. Глаза ее, прекрасные серые глаза, сияли. Матушка принесла парного молока: «Пей, паренек скоро есть запросит, эдакого выпростала, фунтов десять, а то и двенадцать потянет». Через два дня Варвара встала, это ее руки должны мыть, пеленать сына, это она должна первой вдыхать ни с чем не срав-

нимый аромат распеленутого, еще сонного, такого теплого тельца. Это ее сын.

Соседки забегали посмотреть новорожденного, гадали, кто отец. Матушка на расспросы отвечала — «богом нам данный». Она первоначально не одобряла Варвару за затею с ребенком, теперь считала себя соучастницей этого счастья. Соседки дивились расписной зыбке, цветным занавескам и пеленкам, всяким разным одеяльцам-покрывальцам. Некоторые замечали — «все одно вымарает». Матушка многозначительно поглядывала на шкаф, за стеклянными дверцами которого виднелись стопки детского белья: «Не по одной паре мы с Варушей сготовили, всегда внук в чистоте будет».

Мальчик рос ухоженный, он начал ходить, когда ему было десять месяцев. Сколько радости было в семье! Особенно радовалась матушка: выходили крепыша-помора, добытчика. Петруше не было двух лет, когда он начал говорить. Услышав его первые слова: «Мам, дай каша», — матушка осенила себя крестным знамением, а сколько земных поклонов она положила на вечерней молитве — не считано. На следующий день она пекла пироги вне очереди. Первое Слово человека должно быть отмечено. В Беломорье уважают слово, речь старых поморов и поморок «точно жемчуг падает на серебряное блюдо». Шести лет Петруша уже бегло читал. Тут новые заботы: нужны книги, тетради, карандаши, переводные картинки, да мало ли что еще надо грамотею. Это заботы Варвары.

Рос Петруша среди многочисленных сверстников, в поморских семьях обычно пять-шесть ребятишек подрастали. Они вместе играли, купались, проказничали и привыкали к поморскому делу. Мальчик был красив и лицом, и статью. Не мудрено — это был ребенок желанный, в нем души не чаяли две женщины, их любовь наполнила жизнь ухоженного дома, открыла дверь соседским ребятишкам и взрослым, открыла дверь радости. Варвара не потачила сына: попадали ему и выговоры, и «волосянки», и шлепки, а рука у матери была тяжеленька; стаивал он и в углу. Не за шалости и драки наказывала сына Варвара, а за уход его в море на рыбалку без разрешения. Она страшилась за него, помня поморское поверье — безотцовщину море не любит. Ее сын рос без отца.

Под осень хозяин лавочки, в которой продавалось все

необходимое поморской деревне от дегтя и керосина до духов, привез из Онеги новые и подержанные книги и разрозненные журналы для продажи. Петруша, уже школьник, увидев их, помчался домой. Мать была на пожне. Запыхавшись, он только твердил матушке: «Купи, купи, там разные книги». Разобравшись, в чем дело, матушка достала из укладки кое-какую мелочь, поворчала — «поди дорого». Петруша, в нетерпении, уже открыл двери в сени, умоляюще закричал: «Ну, дорого, да я же умнеть буду». Матушка поджала губы, но взглянув на мальчика, прихватила еще рублишко. Домой они возвратились с пачками книг. Тут были дешевые издания Павленкова, Сытина, Суворина — лучшие произведения Пушкина, Некрасова, Гоголя, кое-что из научно-популярной библиотеки В. Лункевича, сказки, три книжечки Жюля Верна. Матушка и Петруша с азартом разбирали потрепанные томики. Их возбужденные голоса Варвара услышала еще в сенях. Только она вошла в избу, как Петруша закричал: «Вот волшебная лампа, лампа Аладдина», — и потрясал ярко раскрашенной, потрепанной книжечкой «Сезам, отворись!» Варвара переживала, что не сама книги купила.

Подошла осень, холодная, дождливая, а там и зима близко. Закончила дела Варвара, пополнилась ее денежная шкатулка; матушка позаботилась о запасах, кладовки и погреба тоже полны; Петруша учится. Зиму можно жить спокойно. Перед ужином маленькая семья собирается у стола, женщины с рукодельем, Петруша читает вслух, чтения хватит на всю зиму — сорок три книги. У каждого слушателя есть уже любимые произведения, их перечитывают по два, по три раза.

Миновала зима, отошли льды. Весна. Начался лов сига-заледки, сельди. Однажды задумала Варвара проверить рюжи, поставленные у Керженца ее покрученником. В малом карбасе пошли она, покрученник Николай и Петруша. День был мглистый, море спокойное. Шли на веслах с водой. Сигов было достаточно, взяли рыбу в плетухи, но провозились с подъемом и установкой снастей непредвиденно долго. Обратно пошли под парусом, ветер усиливался. Зоркий глаз поморки еще издали приметил высокий накат на материковый берег. Спустили парус, Варвара тоже взялась за весла.

Близко от берега карбас накрыла с кормы волна из салмы. Все очутились в воде, поплыли весла, мачта.

Варвара не растерялась, он увидела, что Петруша держался на плаву. Двумя гребками она подплыла к нему. Мальчик захлебывался. Левой рукой она подхватила его под грудь, и с силой загребая правой, поплыла с ним к берегу. Страх за Петрушу придавал ей силы. Волна сзади охлестывала их, а впереди грозили высокие взлеты наката. Петруша тяжелел, он уже не мог грести. Варвара несколько раз погружалась в воду, но опять всплывала, не выпуская из руки сына.

На берегу увидели беду. Три рыбака спускали карбас. Вот он уже режет волну. Варвару с сыном подняли, она была без сознания. Карбас, направленный сильной опытной рукой рыбака, вынесло волной наката на песчаный берег. Варвару откачали, Петруша ушел из жизни, море все же взяло его.

Двое суток молчала Варвара. Винила себя: море безотцовщины не любит.

Хоронили в Лопшеньге. Варвара осунулась, потемнела, глаза ее запали и лихорадочно блестели, но она не потеряла поморской стати. Суровая, стояла она в изголовьи гроба. Судорожно сжатые кулаки она то прижимала к сердцу, словно хотела остановить его, то поднимала над головой и потрясала ими, грозя кому-то, задыхаясь. Изредка она что-то шептала. После напоминания священника о матери, скорбящей у ног распятого сына, и его ответных словах: «Не рыдай мене, мати», она с угрозой громко заговорила, переходя на распев.

Христова мать, говоришь, рыдала у ног сына распятого,
Омывала слезами раны его.
Что же она слезы-то лила понапрасну,
Знала же, что сын ее не скончается во веки веков.
Что же сын-то ее слова такие молвил —
Отнять у нас, матерей, утешение последнее
Над сыном кровным плачем покричать,
Не дать сердцу проститься со своероженным,
Мой-то сын навек в землю уходит,
Придавит его земля, не увидит он света,
Утерял он радости да забавы свои.
Тяжела земля могильная, давит, душит;
А мать горевать останется,
Конца своего дожидать, утешаться?
Не нать мне слов таких, утешительница,
И слов твоих, распятый, ты в землю не ушел, жив остался,
Не от сердца они, не утешат скорбь материнскую.
Все прокляну, все, ничего не нать мне,
Безутешной жизнь кончу.
Сына море взяло, возьмет и меня.

Все присутствующие молчали в изумлении и страхе. Только одна женщина бросилась к Варваре, шепча: «Опомнись, ополоумела с горя-то, окстись. Дай поплачу за тебя». Варвара с силой оттолкнула ее и каким-то низким, хрипловатым голосом грозно продолжала:

Горе мое не снять плачем чужим.
Растревожено сердце мое,
Душу мою мой сын с собой уносит.
Горько мне, тошно, все утеряла, все.
Нету мне утешения, нету.
И не нать мне его. Все прокляла.
Сын мой ненаглядный, утеха моя,
Прощаюсь с тобой, сынушка.
С тебя жизнь-то моя началась настоящая,
Тобой и кончается. Сердце мое замерло.
Прости ты мать неразумную.
Не могла упасти, уберечь тебя от напасти.
Не пойму, здеся ты, а молчишь, не взглянешь —
Обеспамятела я, одинокая.
Горе горькое тебя земле отдавать.
За что наказуешь ты меня, всемилостивый?

Тут к Варваре подошла старая поморка: «За что, не подумала — за гордыню твою. Мнила, выше да удачливей тебя нет, самовольно сына завела. На колени тебе, земные поклоны отбивать, да не в одиночку, а перед народом». Варвара помолчала, а потом оборотясь к присутствующим, твердо, раздумчиво сказала:

За гордыню мою нету слезы,
Камни на сердце грудь рвут,
тоска душит.

Она опустилась на колени и склонилась лицом до настила пола. Во время отпевания она стояла странно спокойная и суровая, неотрывно смотрела на сына. Такой же была и на кладбище. После захоронения она пригласила всех присутствующих на поминовение. Справили поминки и на девятый, и на сороковой день. Все это время ни разу не выходила к морю, ни с кем не разговаривала, перебирала свои и Петрушины вещи, что-то записывала. Через три дня после сороковин она с веслами пошла на берег, отвязала карбас, поднялась в него, оттолкнулась с мели и с силой стала грести. Выйдя на глубину, она сложила весла, встала, простерла руки в сторону берега, как бы прощаясь с ним, со всем прощаясь, что там на берегу было дорого ее сердцу. Постояла так, а затем медленно с кормы опустилась

в воду, отплыла немного от карбаса, еще раз взмахнула руками и погрузилась в море с головой. Она не всплыла. Ее подняли через два часа.

Нет Варвары, остался ее горестный гневный плач. Плач осиротевшей матери.

Осталась матушка одна — с воспоминаниями о навсегда утраченном. До пятидесяти лет она, не имевшая ни кола ни двора, мыкалась по людям: у кого понянчит ребят, кому поможет в страду по хозяйству, кому — управиться с рыбой при «грудном ее подходе». Всегда она торопилась, боялась не угодить. Жить к Варваре она пошла с опаской, слыхала об ее требовательности. Первое время не смела что-либо делать без ее указаний. Варвара же, присмотревшись к матушке, сказала, как всегда, коротко и сурово: «Не ходи ко мне по-пустому, хозяйкой по дому ты живешь, а не казачихой». Матушка помнит, как испугалась она. Хозяйкой, надо же. Хозяйничала она на совесть. Дом прибран, запасы-припасы заготовлены вовремя и заложены на всю зиму, скот обряжен. Стряпня же ее отменная, а рыба приготовлена, как Варварина мамушка готовила. И копейки лишней не истрачено.

Вскоре Варвара заметила ей мимоходом: «Чего это в избе на лавке на подстилке спишь, устраивай свой угол. В повалушке есть кровать, постели, подушки». Матушка тогда даже всплакнула, а успокоившись, вышоркала маленькую горенку, обрызгала крещенской водой, перенесла иконы, единственное свое «имение», зажгла лампады, положила земные поклоны и принялась устраивать свой угол, первый за всю трудную маятную жизнь. Теперь у нее было свое «место» с горой подушек, накидкой и покрывальем, которые Варвара вынула из сундуков с приданым, копленным годами.

Не сбылась мечта дожить век в семье, в покое. Нет Петруши, нет Варвары, одна, старая, осталась. По привычке она все делала по дому, как и раньше. Но часто приготовленный утром обед стоял в печи до следующего дня. Дальше колодца она не ходит. На море не взглянет.

Опустел дом. Не для кого чинить, вязать рукавички и носочки. Не на кого в шутку поворчать и никто в ответ не уткнется носом в плечо, не скажет: «Как от тебя, маточка, хорошо пахнет паренкой, когда пирожки-то

с изюмкой печь будешь?» Кончились все радости. Ненадолго забегут соседки проведать, ребятишки за книгой.

Кончилась осень. Выпали первые снега, завьюжило. Матушка ждала зимнего пути. В декабре она с попутчиками ушла в Пертоминск, внесла в монастырь вклады по завещанию Варвары. Плакала там, билась о ступени амвона. Вернулась домой в конце января тяжелой сугробной дорогой.

Дома опять одиночество, завывание ветра в трубе, одно облегчение — поразбираться в книгах и тетрадях Петруши. Как затемнеет, матушка зажигала лампу над столом, стоящим возле книжной полки, брала книгу с краю, садилась на свое место и медленно перелистывала ее. С каждой страницы на нее глядело прошлое, такое недавнее и милое сердцу.

Короткий февральский день кончался, а дымок не вьется из трубы матушкиной избы, огонек в окне не теплится. Соседка подошла к окну, ничего не видать, стекло затянули морозные узоры. Постучала она в дверь, отклика нет, позвала соседей. Взломали запор, вошли. Матушка сидела у стола, склонившись над пушкинской «Полтавой», любимой книжкой внука... Она тоже ушла из жизни.

ПЛАЧ ЖЕНЫ

День был мутный, поздний, сентябрьский, с утра не то моросил мелкий дождь, не то низкий туман темнил горизонт, но волны на море не было, пробегала крупная рябь. Три рыбака, забыв, видно, давнюю поморскую мудрость — «марево на севере — жди полуношника», в малом карбасе все же пошли на рыбу. Гадали рыбачить недалеко от деревни, за островами, и недолго.

Рыбы взяли немного и шли обратно под парусом ходко. Шторм захватил их нежданно, налетел полуношник. Часу не прошло, на море пыль стояла. Взводень накрыл их, парус захватил воды, карбасок перевернуло. Ни один рыбак не выплыл. На третий день отдало море одного Степана Ефимовича. Плакала по нему жена.

Покинул нас, море его взяло,
Ушел, завета не сказал последнего,
Оставил на меня пятерых детушек,
Как подымать их буду, неразумных.

Слова отцова не слыхать им,
Рука отцова не поддержит,
Куда их без отца направить,
Дорогу-то кто укажет, кто,
На море-то кто выведет их?
Кто расскажет о его повадках и обычаях?
Он-то знал их в тонкости.
А жизнь-то вся впереди,
Жизнь без отца трудная, без достатков,
Жизнь слезами политая, горем повитая.
Ушли с родным все радости,
Ушло беспечалье, ушла надёжа наша,
Ушел родимый наш, кончилась его жизнь,
Только горю конца не будет.

Голос ее поднялся до крика. Сорвала платок с головы, повойник сбросила, коса ее рассыпалась, она билась о гроб, с небывалой силой вырывалась из рук, старавшихся ее удержать.

А он, обряженный во все лучшее, что сохранилось в хозяйстве с поры жениховства, лежал могутный, широко развернулись его плечи, крупные натруженные руки отдыхали впервые за тридцать лет тяжкой морской страды, лицо было спокойно и красиво.

Исступленное горе, отчаяние владели женщиной — утрата опоры семьи, кормильца была негаданной. Оплакивая по поморскому обычаю взятого морем, она собрала все свои силы и возможности отдать последний долг ушедшему мужу и отцу своих детей.

ПЛАЧ НЕВЕСТЫ

Невесте, да еще не обрученной, не полагалось оплакивать жениха. Даша горевала в одиночку, плакала втихомолку на далеком угоре. Жених ее впервые был на зверобойке, на весновальном промысле на Кедовском пути. В азарте он не остерегся и провалился между льдин. Они сомкнулись, и товарищи не могли его спасти. Летом 1912 года Даша разрешила записать ее плач.

Кого ждала, кого любила,
Отняла холодная волна.
Взяло его море, не воротит никогда,
Спит на дне морском он,
И его могилу занесло песком,
Придавило тяжким каменем.
Не слеза моя его обмоет,
Бьет его солоная волна,

И чего он помнит,
И чего он ждет, и чего жалеет?
Может, уж летели его думушки ко мне,
Может, он сказал, как мне дале жить,
Может, он отдал слова мои обратно.
Не могла я дум его понять.
Сердце мое ноет, жмет его тоска,
И чего живому не успела я сказать
Спящему на дне морском суждено понять.

Она плакала нараспев, с сердечной тоской, горестно. Она, семнадцатилетняя девушка, печаловалась о несбывшемся и опасалась остаться навсегда невестой жениха, взятого морем. Может, и не встретит она того, кто решится его заменить.

ПЛАЧ МАТУШКИ

Деревня Кудьма, в далеком прошлом — владение Марфы Борецкой Посадницы, стоит более 500 лет по дороге с Двины к поселениям на Летнем берегу Белого моря. Эти поселения: Ненокса, Уна и Луда были издавна известны как места «солеваренные». Осенью 1913 года в деревне, уже малолюдной и бедной, у одинокой немолодой женщины скончалась единственная шестилетняя дочка. В деревню в тот же день пришла со Свинца Дарья Николаевна, крёстная девочки. Она пришла проститься с ней, сказать матери слова утешения. Села на лавку у стола, обратилась к матери: «Послушай и попрощайся».

Плакалась Дарья Николаевна медленно, часто останавливалась. Ее душили слезы, она сдерживалась, опасалась бередить сердце матери. В то же время соблюдала «чин плача».

У матери родимой
Была ты дитятко едино.
Осень темная пришла
Со ветрами да дожжами,
Дитятко ейное взяла.
Осень ты, дожжливая,
Ты чего болезни носишь,
Ты чего дожжами льешь,
Ты чего ветрами дуешь.
Мать родную не спросилася
Отняла едино дитятко,
Мать бедою разнедужила.
Ненаглядное ты дитятко,

Ты куды ушла, не сказалася,
Ты пошто ушла, не спросилася,
Ране матери, ране времени.
Ты утехой матери была,
Уж тебя лелеяла, обувала, одевала,
Тебе песни она пела,
Не спросилась ты, ушла.
Во землю ты ушла
Ране матери, ране времени,
Мать оставила одну
Слезы лити, плакаться.
Ты пошто ушла от матери,
Ты пошто ее покинула.
Нету свету ей без дитятка,
Нету жизни ей без донюшки,
Нету ей помощницы
В жизни одинокой.
Мать с тобой прощается.
Плачет о тебе и матушка.
Навек ты ушла,
Нам на гореванье.

После плакали еще две пришедшие женщины. Плачи их я записала.

ПЛАЧ М. Д. КРИВОПОЛЕНОВОЙ

Во время первой мировой войны в Архангельске были организованы госпитали для раненых. Один из них был размещен в здании мореходного училища. В этот госпиталь поступали выздоравливающие, уже перенесшие операции. Но однажды ночью там внезапно скончался молодой солдат родом с Пинеги. Днем в госпиталь пришла гостья — пинежанка Мария Дмитриевна Кривополенова. Врач Н. А. Никольская-Ржевская попросила ее зайти в палату, где ранее лежал скончавшийся. Нежданная кончина двадцатидвухлетнего мужчины произвела на всех его товарищей гнетущее впечатление. Она пришла в палату, поприветствовала всех низким поклоном, села на кровать в ногах раненого, очень деликатно, душевно поговорила с солдатами, об усопшем не помянула. Помолчав, сказала: «Поплачусь я, легче и мне будет, не могу печаль на душе держать, слово сказать нать». Медленно, пониженным голосом, без рыдания и слез, часто останавливаясь, слегка раскачиваясь, она плакалась:

Залетел далеко сокол сизокрылый.
Залетел в края, из которых нет возврата мне,
Нет возврата из краев, где тучи ходят,
Облаки небесные да солнце красное живет.
Не кручинься, матушка родимая,
Не печалься ты, жена любезная,
Не горюй, сыночек долгожданный,
Не томите сердца моего,
Сердца сына, мужа и отца.
А лежать я буду во сырой земле.
Из той чужой, сырой земли тяжелой
Нет возврата мне в родимый дом,
А взлечу я в край, где звезды ясные живут.
Как падает звезда во осень темную,
То я глянул с высоты небесной на родину свою.
Ты, жена любезная, мне отдай поклон земной,
А ты, матушка родимая, поклонись во пояс,
А сыночек милый, ты головушку склони.
Защитил я землю отчую и родных своих,
Шел на битву я по воинскому долгу.
Отдал жизнь свою за родимый край.
Помяните, други, добрым словом верного солдата.

Все долго молчали, потрясенные. Молчала и Мария Дмитриевна. Она почувствовала, поняла, чего ждали от нее солдаты, и сказала о том, в чем они нуждались, что им было так необходимо перед вторичной отправкой на фронт, в новые бои.

Ее плач был импровизацией, в несколько необычной для нее манере. Такая форма была необходима слушателям.

Велики были чуткость и душевность Марии Дмитриевны. В этой палате небывальщин-неслыхальщин она не пропевала.

Мария Дмитриевна сказала мне: «Записала — ладно, не от себя плакалась, от его».

Текст этого плача я передала О. Э. Озаровской, он не был опубликован.

РАССКАЗ-ПЛАЧ МАТЕРИ

В 1911 году на Кий-острове у Крестного монастыря собрались пять пожилых женщин из местных онежских деревень и нас две девушки из Архангельска. Вспоминали о русско-японской войне. Рассказ одной из женщин, Анны Кашириной, был полон тихой, приглушенной грусти, выделялся лексикой, образностью строя и вырази-

тельностью. По содержанию он был близок плачам по тем, кого взяло море.

«Младшенький с японской скоро пришел на вольную, по ранению. Пришел без отца и брата. Один у меня остался. Конца войны еще не видать. Вёснусь в артель пошел, а тамотки и на море по рыбу. Как пошел сынок на страду, горевала я, томилась. Душа разрывалась, спокою не знала. Нехорошо на сердце было, тяжесть давила.

Сын-то на море. Поглядываю, не вернется ли вскорости. Море, морюшко Белое волной идет пенною. Все бедой страшит. Не пришел сынок. Не порадовал. Пришла весть горькая, безутешная. Не приветит сынок, слова матери не молвит. Взяло тебя море без отдачи. Без возврата. Лежишь в воде средь песков и каменья.

Осиротилась я, кто опечалит старую. Мочи нет дале горе нести. Боязно маяться одинокой. Нет мне опоры. А земля не зовет».

Рассказ был краток, немногословен, выразителен при простоте своей. Она, больная, покорная, говорила как бы наедине сама с собой. Голос ее звучал приглушенно. Горевала сдержанно, без слез. В этом во всем была особая сила плача-рассказа. Потрясающая сила.

Все плачи, которые я слышала, — импровизация, они складывались у плачеи под воздействием совершающегося приготовления к последнему прощанию с усопшим и к его погребению, а также под влиянием окружающей обстановки. Она могла быть торжественной, печальной или горестной. Присутствующих всегда было много, приходили и просто из любопытства. Но каждый раз, я пишу только о том, чему была свидетельницей, плач как-то завораживал, потрясал всех присутствующих высокой трагической поэзией и глубокой духовностью. И праздных уже не было, были сопереживающие. Записанные мною плачи, их восемнадцать, — это подлинные творения народного таланта.

Интересовало меня, как плачеи складывают свой плач. Вот ответы некоторых из них, только тех, которые особенно поразили меня.

Дарья Николаевна Свинцова. «Как причитали по усопшему, слышала не один раз. Вопленницами плачéй у нас зовут. Их приглашают, угощают, подарки дают. Они по старине вопят, знают стихи такие — что помя-

нуть надо, что вспомнить. Умеют и сами стих складывать. Хорошо складывают, ладно, только не от души это, по приглашению. Над чужими им людям вопят. Узнают что о них — вспомянут, не узнают — по старым, по своим стихам вопят.

Я редко плакала и всегда от себя, не раздумывала заранее. По своим от сердца, от жалости плач вела. Кого провожала, знала в живых, семью знала, жалела всех. Слова, спрашиваешь ты, так они сами идут. Видишь, горе какое, вот и слово тут подходит прямо к голосу».

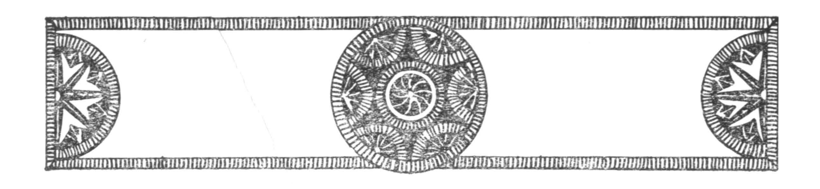
Марфа Деревлева. «Жалею я, кого море взяло. Сиротит, бездолит море матерей, жен, детей. Мать, жена больно горюют, страшатся... Слезу не всегда обронить могут. Тяготу на сердце и в раздуме держат. Вот и поплачешь. Сама скажешь: «Поплачу тебе». Редко плакала. Тоска у меня, как вижу горе. Чем поможешь? Слово какое сказать, не знаю, нету его у меня. Только у домовины и плачу. Там меня за сердце схватывает и слова идут. Свои люди кругом, тоже ждут прощальное слово. Сказать его надо. Не помню своих слов. Силы они отымают и памяти на них нет. Матери слова жесткие говорю тоже из жалости. Слезы выплачет, горе обмоет. Слова жене более утешные, сами идут. Помочь тоже ей хочу, все с ребятами остаются, горюю и об них. За всю семью горюю. Жизнь без мужа-отца тяжелая. Редко плачу».

М. Д. Кривополенова. Пинега, 1915 год. «Вопила я не один раз, в деревнях пинежских. Разные родственники попросят, я и приду. Слова вопленные знаю, запомнила, как моя мать вопила. Свое от себя добавляю, жалостливое, подходящее.

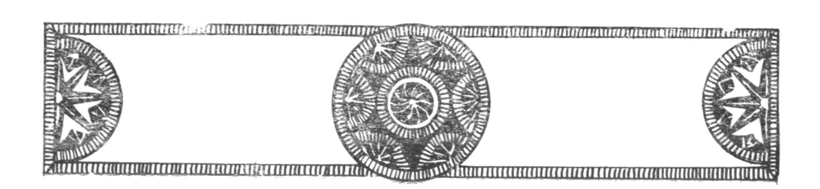
Не записывай ты моего вопления. И Эрастовне наказывала не писать. От своей нужды, за хлебушко да за поминальное вопила. Иного впервой только в гробу и видела. Без охоты шла вопить, от нужды, не в укор это мне. Не одну себя кормила».

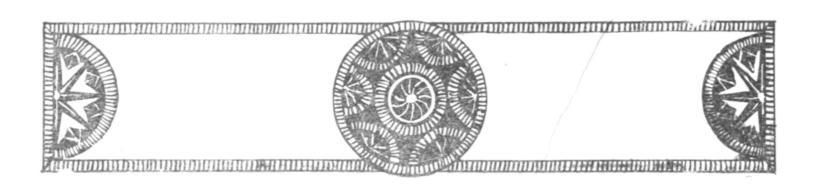
Все это так, и все же сила слова в ее плачах покоряла своей душевностью, пониманием чужого горя.

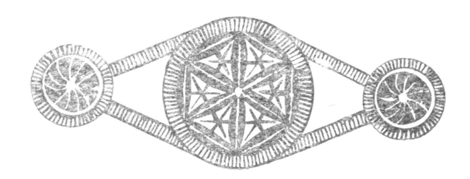
Три эти женщины — поэты высокой одаренности. Ни одна из них не растратила своего таланта до конца жизни. Жизнь у каждой была нелегкая, но никакие тяготы и горести не погасили высокого духа русской крестьянки, вековечной труженицы, самозабвенной матери.

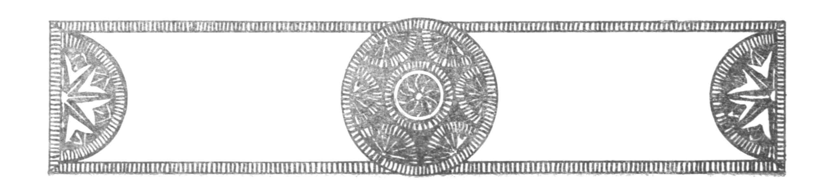


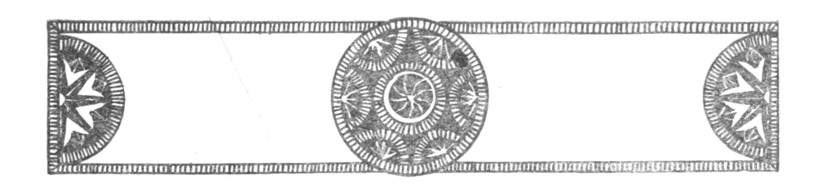
В ПАМЯТИ ПОМОРСКОЙ











На поморском Севере сохранилось много преданий, легенд и сказаний о давних событиях, фактах и исторических лицах. Не занимаясь специально собиранием северного фольклора, я записала некоторые предания, которые упоминались беломорцами в разговорах о прошлом. Это уже пережившие столетия предания об Аввакуме Петрове, о Петре Великом и М. В. Ломоносове, а кроме того, и непосредственные личные суждения и высказывания о произведениях А. С. Пушкина.

ПОМОРЫ ОБ АВВАКУМЕ. На правом берегу одного из рукавов обширной дельты Печоры, самой крупной европейской реки, впадающей в Баренцево море, в XV веке возникло у озера Пустое первое в этом «диком краю» русское поселение. Документальных данных о нем не найдено, только краткие и неясные сведения передавались из уст в уста. В наши дни и они что-то примолкли.

В 1499 году московские воеводы, князья С. Курбский и П. Ушатый, посланные Иваном III для присоединения к Москве обширных северо-восточных югорских земель и для сбора ясака с их населения, «в месте тундряном, студеном и безлесном», у озера Пустое «град зарубили и нарекли его Пустозерским острогом». Это было порубежное укрепление. Вокруг него, под его защитой, разрослось промысловое и торговое поселение. В «Книге Большому Чертежу», составленной в 1627 году в Разрядном приказе по государеву указу, поселение именуется городом Пусто-озеро. Со временем экономи-

ческое и политическое значение города угасало, имя его посократили; в XVIII веке он стал Пустозерским городком, а в конце XIX века именовался уже только слободой Мезенского уезда Архангельской губернии. Город, когда-то имевший воеводу, в начале XX века не нуждался для управы и в уряднике.

В XVI—XVII веках Пустозерск был не только экономическим и культурным центром огромного, но малонаселенного Печорского края. Несомненно его большое значение и в освоении восточных земель: Северного Зауралья, Сибири. Он лежал на пути из европейской части Московского государства к сибирским промысловым и торговым городам: Мангазее, Березову, Обдорску.

Пустозерцы одни из первых проведали путь на Новую Землю, Шпицберген, к устью Оби. За ними эти пути освоили мезенцы, кулойцы и двиняне. В XIX веке через Пустозерский порт вывозили на мировой рынок печорский лес.

Пустозерск прожил более четырех веков и, выполнив свое назначение, уступил дорогу большому современному городу — Нарьян-Мару.

О Пустозерске напоминает памятник, открытый 2 августа 1964 года по решению Архангельского облисполкома на месте когда-то оживленного города-крепости и в память участников давних народных восстаний, испытавших, но не переживших жестокую ссылку в этом городе. Напоминают о его былом документы, рассказы и легенды. В надписи на мраморной плите памятника Пустозерску отмечена его «важная роль в развитии Арктического мореплавания».

Почти три века Пустозерск был местом ссылки и заточения неугодных правительству людей, его большая тюрьма с четырьмя отделениями и смотровой башенкой, окруженная караульнями, не пустовала. Заточали узников либо на долгие сроки, либо навечно. О многих из них осталась в народе память. Сохранились документы и рассказы о заточенцах и ссыльных — участниках народных восстаний под предводительством К. Булавина, С. Разина, и Е. Пугачева, о страдальцах соловецких, «стоящих за правду и народ Руси великой, поэтому и неприемлющих книг еретических». Интересна легенда об Алене, «заточенной за крепки стены и земляны валы».

Была красовита эта любушка разинская, она не только с ним пировала и песни певала, но и ходила в походы боевые. Смерти в глаза насмотрелась, и не устрашили ее тюрьма пустозерская и смерть.

Больше всего сохранилось устных рассказов и легенд о замечательном русском писателе XVII века А. Петрове, раскольнике, неистовом протопопе Аввакуме. Аввакум Петров родился в 1620 или 1621 г. в селе Григорово Нижегородского края. Он оставил более восьмидесяти рукописных произведений, потрясающих силой живого слова, выражающих непреклонность его устремлений, любовь к родине и человеку. Знали произведения Аввакума И. С. Тургенев, увлекался ими Вс. Гаршин. А. Н. Толстой писал об Аввакуме: «...в омертвелую словесность, как буря, ворвался живой, мужицкий, полнокровный голос. Это были гениальные «Житие» и «Послания» бунтаря, неистового протопопа Аввакума»*. Разыскивает, собирает и изучает его произведения Институт русской литературы имени А. С. Пушкина (Пушкинский дом). Изучать творения Аввакума призывал наших писателей М. Горький.

«Житие Аввакума, написанное им самим» и ряд документов, характеризующих его бесстрашную, но поистине страшную, мученическую жизнь, переведены на одиннадцать языков: французский, английский, немецкий, турецкий и другие.

Многочисленны исследования произведений Аввакума, изучается их историческое и литературное значение, стилистика, словарный состав. Есть и литературные обработки его «Жития», даже в жанре поэмы.

Меня же интересовало, что помнят в народе об Аввакуме и почему память о нем живет так долго, хотя известно, что рассказы и легенды о нем распространялись главным образом устно и передачу их преследовали церковь и царская администрация.

В памяти поморов Аввакум Петров — это учитель Аввакум, борец за правду народную, обличитель «не обинующися лиц сильных», за что сидел он в земляной тюрьме, «за великой крепостью» пятнадцать лет. Следует признать, что память об Аввакуме хранили главным образом старообрядцы, которых в начале нашего века на Севере было немало.

---

* Толстой А. Н. Полн. собр. соч., т. 13, М., 1949, с. 362.

В Поморье — по Двине, Пинеге, Мезени и Печоре сохранилась еще память о старообрядческих скитах. После церковной реформы, проведенной в Московском государстве в XVII веке, началось переселение на отдаленный Север сторонников тех, кто открыто, в страстной полемике, протестовал не только против исправления богослужебных книг, порядков церковного управления, некоторых обрядов в церковной службе, но и против всего, что скрывалось за этими мерами. Это был еще не осознанный полностью народными массами протест против усиления власти феодальной знати, против эксплуатации крестьянства и посадского населения и, кроме того, форма защиты самобытности русской жизни и церкви. На закономерность появления такой формы протеста указывал В. И. Ленин: «...Выступление политического протеста под религиозной оболочкой есть явление, свойственное всем народам, на известной стадии их развития...»*

Это массовое религиозно-общественное движение на демократической основе получило еще в XVII веке название «раскол», сторонников его стали называть «раскольниками», а позднее «старообрядцами». Со временем раскол терял характер политического протеста, и в XVIII веке выродился в реакционное течение, противившееся прогрессивному развитию русского общества.

Раскольники, ушедшие от преследований правительства и церкви, основали на Севере многочисленные поселения, отличающиеся особым укладом жизни, который определяли их воззрения, старые обычаи и церковные обряды. Поселения стали известны как старообрядческие скиты. Православная церковь вела борьбу со старообрядчеством, разоряя скиты, часовни, уничтожая книги, писания и обрядовый обиход. Старообрядцы теряли свою обособленность, и к XX веку скиты, уже малочисленные по количеству и по составу живущих в них, стали только прибежищем немногих приверженцев «старой веры» наподобие монастырских организаций различных вероучений. На архангельском Севере многочисленные когда-то скиты изжили себя, в наши дни их нет. В одном из последних женских северных скитов я побывала еще раз в 1913 году.

---

* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с. 228.

Знакомясь воочию с Севером — его географией, историей, культурой — в периоды своих хождений и плаваний по его землям и водам, я слыхала рассказы об Аввакуме в разных поселениях.

Старообрядцы жили и в скитах, но чаще и в большинстве «на миру». Это крестьяне-землепашцы, рыбаки, зверобои, мастера на все руки; женщины ни в чем не отстают от мужчин, только на зверя не ходят, но зверобоев снаряжают они.

Не занимаясь специально собиранием рассказов об Аввакуме, я все же записывала каждое услышанное о нем слово. Записи эти не дают полного представления о сохранившихся в Поморье свидетельствах и легендах о нем. В большей степени они свидетельствуют о рассказчиках, об их представлениях, стремлениях и запросах. Короче, в рассказах отразились некоторые штрихи крестьянской культуры, главным образом поморского населения.

Жил, долго жил, а теперь все слабее теплится в памяти народной образ Аввакума, бойца за правду, а какую точно — многие уже давно и не знают. «Правду он искал для народной жизни» — это, пожалуй, наиболее полное и точное определение, которое услышишь о жизненном подвиге Аввакума. Припомнят трагедию сожжения Аввакума, Епифания, Лазаря и Федора — его соподвижников. Имена эти не забыты.

В 1916 году удалось мне побывать на озере Корода, там были когда-то два скита, позднее они переросли в две небольшие деревни: Большую и Малую Короду. Они лежали близ тракта. Часть жителей были старообрядцами, у них сохранилась молельня. Остановились мы в Большой Короде в доме рыбака Н. М. Пушкова. На вопрос, не старообрядец ли он, ответил охотно: какой веры — сам не знает, ему 36 лет, дома по ранению. Рассказал о своем деде.

«Дед у нас старой веры, моленной заправляет, зовут его Никанором. Читает книги старые, почитает отца Аввакума. Мы тоже почитаем. Дедко говорил не раз: Аввакумово житье праведное, слово его верное. Праведность его в чем, теперь не очень знаем-понимаем, а дедку верим. Был на нашей земле такой, крепко за правду стоял. Дедко рассказывал, не сгорели страдальцы, нельзя им было сгореть. Они муку приняли, земля-

ную тюрьму перенесли без тепла и света. Огонь их и не тронул. Нашему помору, как уверился он в чем, — все нипочем — жги, топи, пали в него — выстоит. Замрет спервоначалу, а потом и оклемается. Сам на войне видел — солдаты крепкие. Твердо на своей земле стоят, не сдвинешь. Во всем так наши, беломорские».

Утром тропинкой я пошла к молельне, на полпути меня догнал старый мужчина, высокий, костлявый, седой, босой, в довольно длинной рубахе на выпуск, без опояски и без шапки. Узнав, что я иду к отцу Никанору с просьбой рассказать, что он знает о пустозерцах, он приостановил меня и сказал: «Строг на разговоры отец Никанор». Все же проводил меня до молельной. Она стояла на берегу озера, обычная рубленая четырехстенка на три окна по фасаду, под двускатной крышей с большими свесами. Отличало ее большое, широкое четырехступенчатое крыльцо, под крышей на столбах.

На верхней ступеньке сидел отец Никанор—старый, могучий, бородатый, сумрачный, в длинной белой рубахе. Я поздоровалась с ним, он слегка кивнул головой. Отец Александр коротко объяснил ему, зачем явилась я. Никанор оглядел меня и сказал:

— Щепотью, поди, крест кладешь. Не тебе об учителе нашем Аввакуме и нас слушать.

— Почему ей об отце Аввакуме не послушать? Девка молодая, а каку дорогу от Рикасихи пешем сломала, за словом шла. Поймет, твое слово доходчиво. Сердечный у ей интерес. Отче Никанор, не отваживай.

Молчали и Никанор, и мой защитник Александр. Я отважилась только на три слова: «Аввакум —совесть наша». На большее у меня слов тогда не нашлось.

— Не знаю еще девку эту. Присмотрюсь, может, и скажу что.

Отец Никанор ушел в молельню, отец Александр в деревню, а я присела на ступеньку крыльца у столба. Ждала часа два. За это время мимо прошли с сетями два рыбака и рыбачка, потом подошла девушка лет семнадцати. Она начала разговор.

— Слова ждешь от его? Мало говорит, а скажет, как отрубит. Все помнит, что сказал-приказал, спрос спросит. Ослушался кто, лестовкой ударит, больно бьет, из кожи, тяжелая. За большое, по-евойному, ослушание два раза хлестанет, не разбирает, куда попадет; лицо руками прикрываешь, глаза укрываешь.

— Он и взрослых так бьет?

— Не, женатых не бьет, старых тоже, малых ребят тоже не бьет, волосянку даст только. Мужиков и жонок за ослушанье на поклоны ставит, не хлещет. За дело наказывает, все так говорят, не осуждают.

— Какое ослушанье большим отец Никанор считает?

— На чтение-пение как не придешь в большой праздник. В большой все, а в малый только старые ходят, мы не ходим. Хлеста за это не дает. За курево бьет, за воровство — из сетей парни рыбу иной раз крадут.

— Что же, он по домам ходит бить?

— Не, позовет через кого к себе—ослушаться не смеют, — или стретит где, хоть через сколько дней, а помнит и походя хлестанет. Лестовка при нем. Скажет, за что хлест дал. Стыда боятся, при всех хлестанет и скажет.

— Ему не отвечают, не бьют его?

— Не, рази можно, уважение ему за советы, лечение: травы знает, травники у него. Зимой грамоте учит. У нас в деревне все грамотны. Что ты неладное-то сказала!

— Работаете на всех?

— Не, с чего, кажной дом на себя, свое хозяйство у нас. Все сами по себе. Жить обществом не разрешается. Никто и не хочет. Одно плохо у нас, не пущают нас в город, не бывала там. Баловство, говорят, там. Посмотреть охота. У тебя на головы платок городово́й с цветками, а у нас до старости белый, а на старость черный, у вдовиц тоже черный.

— Поменяемся, я отдам цветной тебе, а ты мне свой белый.

— Не поносить мне, сорвут и хлёст заполучишь.

Со скрипом отворилась дверь, вышел на крыльцо отец Никанор. Девушка притихла. Увидев ее, он спокойно сказал:

— Ты чего здесь, иди, куда послана.

Она быстренько скрылась. Помолчали мы, я не осмелилась его спросить, о чем хотела, заговорил он, голос у него был приглушенный:

— Слыхала ли, что слово сказано нам такое: всем един покров — небо, едино светило — солнце.

— Слов таких не слыхала, не знаю, кто и сказал.

— В городу живешь, учишься, поди, книги читаешь. Великих слов не слыхала. Учитель Аввакум сказал и

записал, теперь не вырубят, все знаем. Попомни и мои слова об учителе нашем: от несчастного народа шел, сам был без доли, за него шел без страху, к нему пришел на вечную память. За твои давешны слова об отце Аввакуме разговор с тобой веду.

Теперь иди своей дорогой, нечего тут тебе глядеть, расспрашивать. Коль не глупа, поймешь, что сказано.

Помню все по сей день. Надеюсь, что все поняла.

На следующий день с отцом Александром отправились мы в Пертозерский скит. Дорога трудная, тропами. Останавливались на ночь в Амбурском ските. Только к полудню следующего дня добрались до Пертозера и скита, точнее скитов, их было когда-то тоже два — мужской и женский. Осталась одна, довольно большая деревня и выселок. Сохранилась молельня, точнее, ее здание, наставника-начетчика при ней уже не было. Население деревни почти поголовно старообрядцы. Старый обиход — одежда женщин, наличие икон, особый летний пост перед петровым днем, характер приветствий — был выражен более ярко, чем в Кородах. Возможно, сказывалась близость Амбурского женского скита, где старые традиции не сохранялись, а укоренились.

Воскресный солнечный день. Близость озера, леса, лугов, полей и болот. Тишина, все отдыхает. Отец Александр пристроил меня на проживание к пятидесятилетней одинокой женщине, дом ее стоял на краю деревни. Еликонида Ефимовна поставила мне два условия — не пить из ковша, висевшего на краю ушата с водой, и не прикасаться руками к иконам. «Лики смотри, когда завеску я сама отдерну, а руками не трожь». Жила я у нее пять дней.

Многое за эти дни повидала, много разговоров послушала: о старой вере, о книгах, об иконах, о женской доле-судьбе, о нарядах и песнях. Старики сетовали: «Никанор наставника долго не ставит, баловство проявляться стало. Уваженье к жизни нашей не то, особо от парней. Табакуры, охальники есть. И острастки им не дай». Зашел как-то разговор и о Соловках, о самосожжении, упомянули и о пустозерцах, об Аввакуме. Разговор о нем вели старики, женщины слушали и вздыхали. Все разговоры записала, перечитываю.

«В Сибири изгильства сколь претерпел, все выстоял

и не убоялся царских проделок. Помор наш был. Говорили, с Зимнего, родной деревни вот не знаем. Может, ты слыхала?».

Не решилась я тогда сказать, что он не помор, промолчала.

«Зимники, точно, народ крепкий. Ну-кось, на зверя во льды каждогодно ходят, на весновальных их в голомень носило, выживали и в другой год опять ходили. Крепкие от роду зимники. Об отце Аввакуме речь тоже — крепкий, словесный был. Слово его, как пуля-свинчатка, пробивает. Никанор в книге читал, пока я у него был. Не нонешне наше племя. Оскудели мы духом и словом. Нет таких слов, все по городу надо. Забыли, должно, либо не смеем такое слово сказать. Становой батюшке кудемскому докажет. Разорит моленну».

«Помор отец Аввакум и есть, не окаменел от трудностей, человек остался. Охоту в жонке своей не утерял, потомство на земле родной оставил, о детишках-то как скорбел. То и слово егово было сильно. Голосище, говорят, было густое. Сам большой, высох только с голодухи, а горлом силен. Слово тоже крепкое было, доходило. Обличитель. Не повидали, давний он».

Жители Беломорья, которые еще что-то помнят об Аввакуме, считают его помором, причем с Зимнего берега, где было много крупных скитов. Уверенность их поддерживалась рассказами о связях Соловков через эти скиты с ссыльными и заточенцами Пустозерска, особенно в период 1668—1676 годов, то есть в период осады Соловецкого монастыря. В рассказах точно указывалось, от какой «пристаньки соловецкой и какие суденышки шли и до какой затиши приходили». Путь был долгий, трудный — морем, реками, волоками. За пятнадцать, а то и за двадцать дней его проходили. Привозили туда-сюда писемца и весточки. От Соловецкого и разносились предания по всему Поморью.

Амбурский женский старообрядческий скит стоял за болотами Рикасихи и Кудьмы, к северу от тракта с Двины к Белому морю, к Солзе, Сюзьме, Неноксе и дальше к Унской губе. Первоначально скит был заложен на Пинеге близ Красногорского монастыря. После его «разорения» в первой половине прошлого века часть

скитниц ушла в Кудьму. Освоившись и заручившись поддержкой единоверцев, они поставили молельню-часовню, укрыли в ней принесенные с собой старые книги, иконы и весь обрядовый обиход. Постепенно поставили жилье. Возник скит.

Строгими порядками Амбурский скит был известен во всех селениях Летнего и Онежского берегов Беломорья, помнили о нем на Пинеге, были у скитниц знакомства с единоверцами Приазовья и Прииртышья. На житье в скит обычно вступали поморки и пинежанки. Скитниц редко бывало более пятидесяти. Единственное условие для вступления в скит — исповедание «правой веры» в течение всей жизни в миру. Многие поступающие добровольно приносили в скит богатый вклад: рукописные и старопечатные книги, иконы, кресты. Единоверцы из дальних краев присылали денежные и иные вклады: муку, крупы, сахар, мед, зимнюю одежду, свечи. Одновременно от жертвователей поступали поминальные списки за здравие и упокой. На скитских службах некоторые списки зачитывались ежедневно весь год, другие только в поминальные дни. Все зависело от ценности вклада.

Полностью обеспечить жизнь своим трудом сестры-скитницы не могли. Вокруг скита лес, болота, до деревень далеко, а на жительство обычно поступали женщины на закате своей жизни, изработавшиеся на морской и полевой страде. Все же они заготовляли топливо, сено для овец, ловили в озерах рыбу, собирали ягоды и грибы в запас на зиму. Для продажи вязали веники и помела, плели кузова, пряли шерсть, вязали в дар жертвователям носки, рукавицы, шарфы и бузурунки. Зимой на санках тащили по подмерзшему болоту свои «товары» на продажу в Рикасиху — село на перепутье дорог в Архангельск.

Писание икон и переписка книг, одно время проникшие как отголосок Выговской и Лексинской обителей, не привились. Хотя поморки все были грамотными.

Повседневная жизнь в скиту была скудная и трудная, замкнутая в круг огорожи скита, в круг интересов женщин, оторвавшихся от родных, от привычных хлопот, от жизни, идущей вперед. Остались скитницам раздумья, неосуществленные намерения и надежды, мысли о близком конце и воспоминания, а с ними нередко и сожаления. Но они полностью сохранили чудесный клад —

Слово. Слово точное, выражающее сердечную боль и пронзительную жалость, радость, даже восторг, а также и гнев. Не было у скитниц иного способа выразить свою мысль, свои чувства — только слово-речение, слово-песня. Истинно скатный жемчуг даже бытовая речь старых поморок, а их рассказы — подлинно высокое, вдохновенное творчество. Помогали сохранить этот клад старые книги, их почитали. Среди скитниц были чтицы великого мастерства. Они познали власть слова и умели им пользоваться не только для воздействия на других, но и для укрепления самое себя. Были и толковательницы старых творений — сказываний, притч, песнопений и славословий. В прошлой жизни они испытали и счастье, и немало горя, были среди них стремящиеся выяснить, как связать прошлое с будущим. Были и такие, кто хотел только спокойной жизни, тихого конца. В лабиринте легенд и суеверий они искали успокоения. Книги помогали всем. Слово завораживало, одних духовно укрепляло, других умиротворяло. Слово влекло и подчиняло всех. Оно связывало «покинувших мир» с этим все же родным и таким милым сердцу миром. Они его не забывали.

В ските все были равны, выделялась только старшая — начетчица. Она была полновластной руководительницей, наставницей, хранительницей порядка и традиций, судьей всех споров и стычек, хозяйкой. Решения ее во всех случаях были окончательными. Но жила она в таких же условиях, как и все остальные скитницы.

В июле 1913 года из Бердянска приехала в Архангельск моя знакомая по Бестужевским курсам М. Н. Поветкина, семья ее была старообрядческой. Она привезла вклад для Амбурского скита и просила провести ее туда. В ските я уже бывала дважды, но дорогу через болото знала плохо, необходимо было искать проводника. 17 июля мы были в Рикасихе и, переночевав у Д. А. Ефимовой, на следующее утро отправились с нею в скит, дорогу она знала хорошо. Все дары тащили на санках.

Дорога была плохая, по болоту, с кочки на кочку, по проложенным кое-где дощечкам, по срубленным веткам деревьев и кустов. Жара, тучи комарья, овода, и ноша на санках немалая. Скит открылся весь сразу при самом подходе к нему. На взгорье, за невысокой огорожей, на зеленой поляне потемневшие деревянные руб-

леные избы, часовня, колодец с журавлем, поленницы дров, по траве протоптаны тропки. И ни души. Тишина, только назойливый зуд комарья. Живы ли люди или ушли куда-то?

Но вот показались две женщины в черных глухих сарафанах, в белых рукавах, повязаны белыми платками. Они вышли за огорожу, нам навстречу, поликовались с Дарьей, поклонились нам в пояс и проводили всех к старшей, женщине уже пожилой. Там — теплые приветствия, тихая радость, какие-то осторожные расспросы об Архангельске, Кудьме, Бердянске, воспоминания о встречах, памятные во всех мелочах. Нет, жизнь здесь не замерла, но замедлилась, вошла в тесные границы — то ли по уставу, то ли это усталость женщин от тяжкого труда, который они вынесли, живя в миру. Может быть, эта замедленность и тишина вокруг — желанный покой для них.

Закончена встреча: по указанию старшей нас отвели в келью, принесли колодезной воды для умывания, пригласили отдохнуть на довольно-таки жестких топчанах и через час прийти потрапезовать. В трапезной собрались все скитницы и те, кто пришли навестить их. Обменялись приветствиями. После краткой молитвы, которую зачитала старшая, приступили к скромному обеду: грибовница, пшенная каша, квас. Все по раздаче. У каждой своя чашка и ложка. После обеда все разошлись по кельям, а нас старшая пригласила полюбоваться книгами, ликами и всем хранящимся в молельне. Старшая хорошо знала сокровища скита, различала особенности псковского, новгородского и сольвычегодского (строгановского) письма ликов; она более всего ценила поморское письмо: «...строгое оно, к смирению зовет, да и рассказывает о наших святителях». Хороши были складни, кресты, дорожные иконы выговского литья с белой, голубой и синей эмалью. Их старшая выделила особо: «Старое дарение».

Запомнились «лики чудесные»: икона Николая Мирликийского в двенадцати клеймах, где написана жизнь его от рождения до смерти. Все события на фоне северной природы и поморского быта. Типичный ландшафт Беломорья, море то тихое, то с волной, россыпи камней у уреза воды, на берегу избы, рыбачьи сети, вдали ели. Тишина. Никола несет улов. Была псковская Параскева Пятница, соловецкие угодники, Дмитрий Солунский и

поразительный Деисус. Икон много, книг — 78 экземпляров. Переплетены в тяжелые деревянные доски, обтянутые холстом или кожей, с медными застежками, некоторые украшены жуковинами. Тут были Евангелия, два из них, гордость скита, — в окладах, Минеи, Апостол, Часослов, Требники, Служебники, Триоди. Старшая особо выделяла Служебник соловецкий, рукописный. Были книги и не церковные, лицевые. Всё прекрасной сохранности, но не дошло до нашего сегодня.

Конец дня провели на завалинке в разговорах и расспросах о жизни в прошлом и в скиту, о книгах. Вспоминали, кто что знает о жизни первоучителя Аввакума и его жены Настасьицы, Феодосии Морозовой и Евдокии Урусовой. Спрашивали, где бы приобрести их «личности» — изображения. Мы рассказывали о картине В. И. Сурикова «Боярыня Морозова». Знали скитницы многое. Это, наверное, заслуга старшей, а может быть, они и в миру вели беседы между собой обо всем этом? Говорили коротко, образно, слова были удивительные. Сестра Манефа, из Кицы она, про Аввакума сказала: «В огне не сгорел, по миру с дымом развеялось его слово. Достойно предстанет на суд страшный». О женщинах, его исповедницах, сказала еще короче: «Лучесветлые они». Сказав это, она встала, поклонилась в пояс, коснулась пальцами земли. Земной поклон всем им отдала. До конца беседы не сказала больше ни слова.

Разговор шел также о Соловецком сидении*, о письмах на Печору и ответах оттуда. Были и легенды. А как они слушали друг друга, слова не уронили. Слушали внимательно и наши слабые речи, но как-то отчужденно. Молоды были мы с Марией для них, а может быть, уже чужды. Мы не любопытничали, были уважительны и серьезны, как и они. Но мы не были «свои». Мы пришли из того мира, который они уже оставили, но который все еще помнился им. Они не осуждали ни нас, ни оставленный ими мир. Все их помышления, должно быть, были о фантастическом будущем заоблачном мире, где каждому, ждали они, воздастся по трудам его. Мы все же напомнили о мире ином, действительном.

Позднее в скит через Рикасиху была отправлена хорошая репродукция картины В. И. Сурикова.

* Авторы ряда работ (Н. А. Барсуков, А. М. Борисов и др.) говорят о данном событии как о Соловецком восстании. *Примечание редакции.*

После паужины отправились на покой. Спали, как говорится, без просыпу до восхода солнца, встали на утренней заре, медленно разгорающейся где-то за лесом в прохладном воздухе, пахнувшем хвоей, багульником, травами, росой, умылись у колодца, выслушали чтения в молельне, выпили чаю и в девять часов по приглашению старшей направились слушать «девятый день»: в ските поминали сестру-скитницу на девятый день после ее кончины.

Обряд поминовения совершали в трапезной. Это была большая комната без обоев, побелки и окраски, кругом строганое дерево, по стенам широкие крашеные лавки, в большом углу под божницей длинный стол, его строганую столешницу отполировало время. На столе глиняное блюдо с небольшими ломтями ржаного хлеба, две солонки с крупной солью, кувшин с водой и несколько кружек.

В трапезную впереди всех вошли семь старых скитниц в косоклинных глухих черных сарафанах, в черных платках в роспуск. Они сели в большом углу, у стола под образами, остальные скитские и пришедшие, все в черной одежде, головы повязаны платочками, молча разместились на лавках вдоль стен. Суровы были и обстановка, и собравшиеся женщины. Ни шепот, ни движения не нарушали тишину.

Начали поминовение. Сидевшие за столом вставали по очереди одна за другой и сказывали свое поминальное слово. Начала старшая, сидевшая с краю стола. Торжественно и сурово она обратилась к присутствующим:

«Справим великий чин поминовения. Помянем добрым словом духовную сестру нашу, труженицу Марфу. Оставила она юдоль земную в смирении, благочестии, в трудах, положенных ей. Да слышит нас душа ее».

После этих слов она перекрестилась, поклонилась сестрам, сидевшим за столом, а затем отдала поясной поклон присутствующим. Села.

За нею по очереди поднимались и говорили свое поминальное слово остальные шесть сестер.

— Трудилась в миру сестра наша Марфа на земле и на море, исполняла труд, из веков посланный человеку, трудно добывала хлеб и соль для детей своих, но не возроптала.

— Не нарушила сестра Марфа завета божьего, дан-

ного человеку, оставила в потомство сыновей и дочерей, вырастила их в труде по завету учительскому и ушла в скитское жительство, покрыла грехи мирские своим трудом и замолила их. Откроются ей врата райские.

— В скиту ходила за немощными, всегда помнила, что живем на земле страстотерпцев наших. Нам она в поучение.

Сказав свое поминальное слово, каждая сестра в пояс кланялась старшей.

Выслушав всех, старшая встала, высоко подняла правую руку с двуперстием. Жест торжественный, призывающий. Он напомнил, как Аввакум, объятый пламенем и дымом костра, так же поднял руку, когда его живым сжигали в Пустозерске. Старшая требовательно возгласила: «Восславим волю всевышнего». Все встали и запели: «Ты моя крепость, господи, ты моя и сила, и надежда, ты мое радование, не оставь недра отча и нашу нищету посети, с пророком Аввакумом зову. Силе твоей слава, человеколюбие. Прими славословие наше и упокой сестру нашу Марфу».

Пели низкими голосами согласно, самозабвенно и торжественно. Лица суровые, глаза горят. Думалось, любая пошла бы на муки Аввакума.

Кончили петь, старшая пригласила присутствующих: «Вкусим в память усопшей основу жизни нашей». Все подошли к столу, взяли по ломтику хлеба, посолили и, отпив глоток воды, съели его, не уронив ни крошки.

Каждая сестра сказала поминальное слово — краткое и суровое. В их словах утверждались труд и верность великому достоинству человека, как обязанность его в настоящем и для будущего. Нам это понятно и как выражение сокровенных, добрых чувств человека, и как его творчество.

Не знаю, сказывали скитницы одни и те же поминальные слова на каждом поминовении или каждый раз это была импровизация. Как бы то ни было, эти простые слова не забылись, не забылись и торжественность обряда и его глубокий смысл — поминалось лучшее в человеке, воздавалось ему должное по трудам его, по стойкости его духа.

Отжили свой век, самозакрылись за ненадобностью скиты, лишь кое-где сохранились воспоминания и легенды о них.

На левобережье Северной Двины в 32 километрах от Архангельска в XVII веке были основаны два раскольничьих скита на озере Малое Лахтинское (мужской и женский) и один — на озере Большое Лахтинское. Во второй половине XIX века большелахтинский скит принял учение единоверческое, а два малолахтинских слились в один. Места на Лахте уединенны, живописны. Хорошие боры, озера. В начале XX века скиты еще сохранялись, но были малочисленны, население переходило в деревни Холм, Ширшу, Захарово. На месте скитов осталась деревня Лахта. В этой деревне я бывала не раз и там записала следующие рассказы.

«Дед мой старой веры держался. Сами мы с Печоры. Перешли на Двину по воле деда еще в прошлом веке. Дед сказывал, Пустозерск вторым когда-то был после Архангельска. Архангельск Городом прозывали, а Пустозерск Городком. Память о нем долго держалась рассказами о сожженцах пустозерских. В наше время Пустозерск уже выжился, что там было, как жили — не слыхали ни мы, дедовы внуки, ни дети, ни внуки наши. Мальчишком я был, слыхал только от деда об Аввакуме и его соратниках. Крепкие были мужики и телесно, и духом своим. Жгли их живыми —вытерпели, пощады не просили. За что казнили — не знаем. Правду искали они — это знаем».

«Хотела я сыну первенькому дать Аввакумово имя. Бабушка советовала, она по скиту знала о нем. Три скита на озерах было, теперь там порушилось все. Одна старушка древняя осталась, живет тем, что принесут из деревни, ягодки, грибы собирает. Отец мой не дозволил имя Аввакумово дать. «Тяжелую правду имя это наложит. Не дело именем Аввакума забавляться, зови по-иному». Так сказал. Он по старой вере. Мы в верах не разбираемся, ни к чему это нам, а ему не перечим, сурьезный он. Всех ребят отдавал грамоте и мастерству учиться. Чтец, газеты читает, выписывает. Порасскажет и нам что. Корят его — старовер. От него только строгость и польза, а вреда нет».

1935 г.

В 1958 году побывала я в Мезенском заливе. В дороге среди пассажиров парохода возник разговор о ста-

рых поселениях на Зимнем, Абрамовском и Конушинском берегах, по реке Куе, Кулою и Мезени. Вспоминали о временах их заселения, о том, какие причины влекли человека в край незнакомый и неприютный. Возник вопрос и о том, почему в этом районе было много старообрядческих скитов и остались ли какие-либо их следы. Местный житель, работник райсовета, не только охотно отвечал на вопросы, но дополнительно рассказывал о жизни района, об его успехах. Его ответы относительно старины сведены в один рассказ.

«До нас дошло мало сведений об Аввакуме и его сторонниках. Одно помним — были они, место было известно, где их сожгли, четыре креста сторонники их поставили, подновляли. У нас в районе еще есть староверы, они и хранят память, больше женщины этим интересуются. Легенды ли помнят или от себя что расскажут — это уж их дело. Интерес у нас к этим дальним событиям и людям утрачен. Приезжие интересуются их жизнью, записывают, а мы современными занимаемся делами, вперед смотрим, а не назад. Вы поищите сами, есть люди-староверы, они больше знают. Для науки знакомство с религиозной стариной не запрещено. Может, изучение ее и представляет интерес. Иконы старинные, изделия хозяйственные из дерева, литье медное на сумки коновалов сохраняют как родительскую память. Поинтересуйтесь. Коновалы мезенские были знаменитые. Лошади, мезенки звались, для севера были пригодны. Не велики, а выносливы. На все ярмарки раньше их выращивали. Мал золотник, да дорог, можно было про них сказать.

Теперь в Пустозерске пять домов, жителей десяток. Молодежи, детей нет. В Нарьян-Мар все ушли, на ученье, на работу».

На Мезени записано три рассказа, в которых упоминается о Пустозерске и Аввакуме. Первый в Семже, второй — в Пые и третий в Кимже. Там в 1966 году я была вторично.

«Была у нас в Семже хорошая часовня, моленная, мы прозвали. Много было благолепия, образов старых, книг разных. Собирались, слушали чтение, пели псалмы, свечи жгли. Хорошо, пристойно было. Рассказы были о предстоящих пред престолом за нас. Одна старушка семжинская много знала, она и чтение вела,

Бывала я на Пустоозере пятьдесят лет тому назад. Домов там два порядка. Часовня и церква деревянные, запустели. Веточки с места успокоения учителя Аввакума принесла. Там я слыхала об их, сожигали их, а он все крычал благословение. Сидели они в земле долго, подавали воду да хлеб от казны, похлебать горяченького ничего не давали. Жители сострадали, подкидывали рыбки поесть, стража ничего, допускала иной раз, как начальства нет. Учитель стоять еще мог, а его сподвижники совсем исстрадались. Сила у него была для слова к жителям, они собрались на день его смертного часа. Такие слова крычал: «Все мы одинакие дети господни, стойте за благочестие свое, хулу не кладите на врага своего». Истинно благостный человек был, память таким вечная».

«Крест вот в Пые поставлен в память пустозерцев страдальцев. Старшого их Аввакумом звали, был еще Федор, других не знаю. О чем учили, не знаем точно, а слыхали, добру учили. Приходят старые люди ко кресту, вешают одежки, полотенца для здоровья своего либо родных. Поминают тех пустозерцев, почитают их».

1966 г.

«Церковные споры и распри до нас уже не дошли, не нужны они нам. На церковь нашу только любуемся, красота возведена, купола сияющие, а изукрашенье и всего-то лемехом. Творенье рук мастера. Церковные дела — не наши дела. Мы на море всю жизнь трудились, на промысле и в экспедициях. Об Аввакуме слыхали. Умный был человек, а горячий, в споры кидался, все забывал, сам только правым был. Ум большой, по слухам-то, обсудить мог и дела царевы-государевы; осуждал, кого неправым счел, и царя, и патриарха, и урядника. Всех в осуждении ровнял. А у каждого власть, каждый наказание даст, а то и забьет, это по прежнему времени. Все на своем стоял, что правым считал. Отсюль ему и прозвище «праведник».

Старики кое-что еще помнят, а молодым до него дела нет. Да, всему свое время. История это народная. Говорил Аввакум хорошо, доходило до народа; наша поморская речь не забывается. Старушки много его словес помнят. Нынче и ученые, и писатели словом поморским интересуются».

А. Митькин из Кимжы, 80 лет.

Сравнивая свои записи рассказов об Аввакуме в период 1913—1969 гг., ясно вижу, что остается все меньше людей, что-то слыхавших о нем, забывается и то, что еще помнилось даже в тридцатые годы. Все же по имеющимся записям можно понять, почему именно в Поморье память о нем хранится более трехсот лет. Можно и представить, каким запечатлелся Аввакум в памяти народной.

Последние пятнадцать лет жизни Аввакума Петрова прошли в Печорском крае, в Пустозерске. Здесь он был заточен в земляную тюрьму, здесь насильственно оборвалась его жизнь — 14 апреля 1682 года он был сожжен на костре. Здесь нашлись смельчаки — переписчики и распространители его писаний, нашлись для них и верные пути на Соловки, а оттуда по Беломорью. Нашлись и те, кто ждал пустозерских весточек, берег их. Вот и хранилась здесь память об учителе Аввакуме.

В памяти поморов, почитателей Аввакума, запечатлелся один и тот же образ его — высокий, исхудалый старец со сверкающими глазами, густым голосом и палящим сердца словом, зовущим к правде жизни, словом согревающим, призывающим к человечности. Его стойкость в бедах и истязаниях поддерживала тех, чья жизнь была беспросветна.

ПОМОРЫ О ЛОМОНОСОВЕ. Юность Ломоносова прошла на Севере. На отцовском судне он ходил в Белое и Баренцево моря, рыбачил, бывал в местах «солеваренных», закупал для отца соль, интересовался жизнью поморов и саамов. И все же среди поморского населения Севера, такого памятливого, среди населения Подвинья, даже в районе Холмогор, сохранилось мало стародавних преданий, связанных с его именем, с его деятельностью.

Слышала я только шесть преданий о Михаиле Васильевиче: три в Холмогорах и три в поморских деревнях на Летнем берегу. Можно предполагать, что юный Ломоносов не выделялся ни обликом, ни работой промысловика среди других поморских юношей. Оснований для рассказов о нем и не было. Не возникали они и позднее потому, что при жизни Ломоносова, да и до конца XVIII века не было доступных популярных изданий о его творчестве.

Рассказы о жизни Михаила Васильевича в Петер-

бурге могли распространить поморы, приглашенные в Петербург для того, чтобы от них «взять на письме известия», необходимые Ломоносову в связи с его работой над планом экспедиции по отысканию «проходу Сибирским океаном в Восточную Индию». Все поморы, вызванные в столицу, знали условия плавания в арктических морях, они неоднократно зимовали на Шпицбергене и на Новой Земле и могли о многом рассказать Ломоносову. В Петербурге они гостевали у Михаила Васильевича, а затем вернулись в родное Беломорье и сохранили прочные воспоминания о земляке, о его жизни в Питере.

Разумом великим, силой непомерной
Славен был Ломоносов сын.
Земляков почетил, за столы их в Питере сажал,
Чаркой обносил, а хмельным и сам не брезгал.
Он свой край полношной доскональ узнать хотел,
И какие воды, льды и ветры там какие —
Все писал про них.
И помору он сулил будущность большую.

Эта запись сделана в Холмогорах летом в 1910 году. Сообщил старожил Холмогор Н. Шангин, знаток холмогорской старины, почитатель Ломоносова и Шубина.

Второе предание о жизни Ломоносова в Петербурге было записано в 1911 году, в Сюзьме. Рассказывала Марфа Деревлева. Ей было уже лет под семьдесят, слыхала она о Ломоносове от отца, который в свою очередь слышал эту легенду от сказителя на мурманской страде. Как всегда, матушка Марфа вела рассказ раздумчиво, складно.

В Питере живет Михайло,
У царей, цариц гостит,
Именьем володеет.
А живет как наш помор:
Ест солоную трешшочку,
Да сижков-залёдок,
Заедает все морошкой зимней,
Запивает квасом с толокном.

Третье предание о петербургском периоде жизни Ломоносова записано в 1911 году в Холмогорах от И. И. Боброва, врача, проработавшего в этом селе более сорока лет. Он сказал: «Вот какая хорошая молва идет о Михаиле Васильевиче»:

«Ломоносов царицам не кланялся, а они в ём искали».

«Хорошо Ломоносов писал про Петра, как он на берегу Двины стоял да вперед глядел. Пушкину понравилось».

От кого и когда записаны эти мысли, И. И. Бобров не сообщил, возможно, я оплошала и не записала.

Еще одно сказание записано в 1938 году от Д. Е. Сынчиковой, уроженки Лопшеньги:

«Ломоносов на парады ходил в розовом кафтане, серебром шитом. Я и картину такую видела», — добавила она.

В 1952 году в Беломорске (бывшая Сорока) еще одним воспоминанием поделилась А. И. Щепетова. Этой женщине было лет 80, а может быть и больше. Ее уже согнули годы. В прошлом — владелица промыслового парусника. По ее словам, она не раз бывала в Норвеге, ходила в Варгав (Варде), капитанила. Властная, суровая, любознательная, она многое знала о море, о скитах, о ликах. Всегда была обряжена в поморский сарафан. Истая поморка-старообрядка.

Дружба с нею у меня завязалась после разговоров о Выгорецком пустынножительстве, основанном братьями Денисовыми. Первоначально она встретила меня сурово. Но потом я заслушалась ее рассказами о занятиях и труде жителей скита, о переписке старых книг в Лекшме. Кое-что я раньше знала об этих скитах, вот и сошлись общие интересы.

А. И. Щепетова была знатоком старообрядческой старины, собрала много книг и ликов северного письма. Часть книг она сама отвезла в Москву на Рогожское — центральное хранилище старообрядческих исторических материалов.

Вот услышанное ею воспоминание о Ломоносове:

«Ломоносов весь поморский род прославил, земной поклон ему. А мы свой обет даем, сибирскими-то морями мы пройдем».

Тут в наш разговор вмешалась дочь Анны Ивановны Александра. Ей тоже уже за пятьдесят было. Она возразила: «Неверно последнее, надо записать: «И свой обет даем, пройдем мы Северным путем. Теперь так путь называют, так и поют».

Это, конечно, «молодое предание», сложившееся в нашем веке.

Можно отметить еще один след, оставленный Ломо-

носовым в памяти поморов. После разорения в 1869 году Выговского скита, все, что после погрома еще уцелело от его большого собрания рукописей, рукописных и старопечатных книг, поступило в Петербург в Археографическую комиссию Академии наук. Среди рукописных книг обнаружили «Сборник псальм», в котором были записаны произведения М. В. Ломоносова: «Утреннее размышление о божием величии», «Вечернее размышление...» и «Ода, выбранная из Иова». Эти произведения были положены на крюковые ноты. «Сборник псальм» поступил в собрание рукописных книг В. Г. Дружинина за № 65. Он должен храниться в библиотеке Археографической комиссии.

ПОМОРЫ О ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ. О Петре Первом бытует много поморских преданий и легенд. Их собирал Е. В. Барсов, его материалы опубликованы в книге «Петр Великий в народных преданиях Северного края» (книга вышла в Москве в 1872 году). В сборнике 12 рассказов о Петре. Н. А. Криничная подготовила издание «Северные предания» Беломорско-Обонежского региона. (Ленинградское отделение издательства «Наука», 1978). В книге приведены 65 рассказов о Петре.

Среди моих записей есть еще не опубликованные предания о Петре Великом. Они собраны в разное время в Беломорье.

«Молод был, а все царь-осударь. Рост большой, ходит быстро, расторопный, руками машет, голова в кудрях. Никто не ослушался, как приказывал просеку рубить да дорогу гатить, да корабли на катках волочить от Нюхчи до самого Онего-озера. Кто другой бы приказал, хоть какой енерал со звездой, помор наш сказал бы ему «одурел» да и не пошел этим заниматься. Петру Алексеевичу не перечили. За работу одаривал словом. Дедко мой все слова от отца своего слыхал, сказывал: «Словом таким одаривал — и рубля не нать».

«Ростом был не мал, бахилы ему шили в чеботарной, так в пол-две лапость евонная*. Колодки новые делали. Не видывали еще такой ноги. Голяшки бахиловы

* «Пол-два» равняется 1,5 целого, пол-пять — 4,5 и т. д. *Примечание автора.*

выше брюха моего дедки. Сам сказывал. А помор он тоже не маленький был, рослый, дедко-то».

Рассказы записаны в 1912 г. от гостинщика Преображенской гостиницы в Соловках Никандра.

«На Заяцком Соловецком острове в байне мылся, приказал веники березовы подать, а где взять? На Большой ходили за вениками. Навязали ему веники, он и парился, как хлестанет себя, так и ухнет, далеко слышно. Потом выскочил из байни нагишом к колодцу, он туточка у байни и теперь. Пригнулся и говорит-приказывает: «Поливай воды колодезной холодной на плечи да по спине, головы не трожь. Такой своендравный был. Это сказывал нам схимник из Савватеева».

Рассказ записан в 1912 году на о. Большом Заяцком от молодого монаха Игната. Он хорошо знал расположение всех Соловецких тюрем и «узилищ». Водил меня по всем, не забыла я этого путешествия.

«Первые венцы часовни Заяцкой Петр Алексеевич сам клал. Сплотки сплавили от Кондострова к Заяцкому, дерёва толстые, берега невысоки, а крутеньки. Сам носил на угор. На плечи мешковину набросит, подмогу дадут на плечо дерево навалить, и пойдет. Силен был, могутный, молодой, вот и задорился, силу казал. Сам концы рубил «в лапу», ловко так плотничал. Силен, веселился от работы и показаться всем хотел. От настоятеля это слыхали, в пример ставил Петра Алексеевича».

Рассказ записан в 1912 году на о. Большом Заяцком от старца Авраамия.

«Петр Алексеевич беспокойный был, везде на монастырской земле выходил, на все колокольни лазил, все звоны пробовал. Разрешали царю. Как верхом куда, лошадь подбирали высокую по евойным ногам длинным. Устанут все от поездок, а он все еще в беспокойстве. Развлекался тоже, камешки в море кидал, у кого блинков боле; ну и вавилоны (лабиринты) приказывал класть. Сам прутом укажет по песку, как камни класть. Недолго живал, а память на века оставил».

Рассказ записан в 1914 году в Соловках от настоятеля Иоанникия.

«Петр Алексеевич хотел море наше узнать. Море — не пруд, не озеро. В море ходить не на пруду баловать,

Он потому на Соловки прибыл и дале до Трехостровской салмы ходил. Умом, силой, глазом знакомство с морем вел. Жаден был до моря. Настоятель это рассказывал богомольцам. Отец мой от его слыхал, ходил в молодости не раз с богомольцами на Соловки».

Рассказ записан в 1952 году в Беломорске от А. И. Щепетовой.

«Теперь прозывают Петр Первый, а мы не считаем первый ли второй. Завсегда помор зовет — Петр Алексеевич или Петр Великий. Росту был великого, ну и по уму тоже. Как прозвал народ, так и зови. Дедушко наказывал».

Рассказ записан в 1952 году на о. Горелка, в стане рыбаков из Колежмы от Володи Попова.

«Старики рассказывали, как Петр Великий крест рубил в Унской на Красном*. Все сбежались смотреть, как царь топором тёшет. Да что из Луды, из Яреньги бежали».

Рассказ записан в 1959 году в Пертоминске от А. Верещагина.

ПОМОРЫ И ПУШКИН. Имя Александра Сергеевича Пушкина как поэта стало известным уже в ранние годы его творчества. Первые стихотворения Пушкина были напечатаны в 1814 году. В 1820-м, когда автору было чуть за двадцать, издана его поэма «Руслан и Людмила». Издание разошлось в несколько дней, так было с каждым его последующим произведением — их ждали. В наше время Пушкина читают более чем на ста пятидесяти языках. Перевод его поэзии с русского на другие языки особенно труден. Каждое слово Пушкина по выразительности, точности передачи мысли и чувства, построение стиха, красота его звучания и все стихотворение в целом по глубине содержания и высокому вдохновению требуют от переводчика не только знания тонкостей его родного и русского языков, но и большого таланта поэта-мыслителя. Такие переводы созданы. Известность Пушкина — всемирная, а в нашей стране — всенародная.

В прежней России, да и среди некоторых литературоведов 20-х годов бытовало мнение о том, что круг чи-

---

* Название мыса.

тателей произведений Пушкина ограничен, народ их не знает, они ему непонятны. Мнение глубоко ошибочное и ничем не обоснованное. Почему-то забывали или даже не знали о том, что еще в 1899 году в связи со столетием со дня рождения поэта газета «Сельский вестник» обратилась к своим читателям с просьбой сообщить, какие произведения Пушкина они читали и что они о них думают. В редакцию газеты пришло около тысячи писем со всех концов России — из центра, с Севера, в том числе из Архангельской губернии, из Сибири и с Камчатки. Сто одно письмо газета опубликовала. Письма, сохранившиеся до наших дней в архиве газеты, послужили материалом для исследования профессора Б. С. Мейлаха «Пушкин в восприятии и сознании дореволюционного крестьянства» (1967). Автор исследования отмечает: «Поразительна интуиция, с которой крестьяне, не знавшие, конечно, фактов политической биографии Пушкина, оценивали его роль для народа, с какой мудростью старались извлечь из его произведений нравственный смысл, объяснить их поэтическую прелесть». Ранее этого издания, в 1930 году, была опубликована работа учителя сельской школы в Сибири А. М. Топорова «Крестьяне о писателях», в которой есть глава «О Пушкине». Топоров проводил для крестьян вечерние чтения литературных произведений. Чтецом был он сам. Крестьяне обсуждали прочитанное. Высказывания были различны: от одобрения — «стихами Пушкина не налюбуешься» — до доказательного разбора значения произведения, красоты языка, сравнительной характеристики впечатления от творчества Пушкина и других писателей. Слушателей волновали вопросы политической и социальной жизни Родины, вопросы просвещения и быта. Книга А. М. Топорова в 1967 году была издана третий раз.

В Беломорье я много раз встречалась с читателями — почитателями Александра Сергеевича и не только убедилась, но и поразилась известности его среди поморского населения: она была шире известности какихлибо других писателей. Читали сказки, повести, поэмы, стихи, «Историю Пугачева». Грамотность населения Беломорья и Мурмана была значительно выше грамотности жителей в других районах архангельского Севера и средней России уже в XVIII и XIX веках. Уважительность и любовь к слову, взращенные условиями жизни на отдаленном когда-то Севере, исконные традиции уст-

ного народного творчества, бережное сохранение и передача из поколения в поколение легенд, былин, сказываний, песен возбуждали и поддерживали интерес к появившимся печатным произведениям — и к прозаическим, и особенно, к стихотворным. Многочисленные издания произведений, близких и понятных народу и по содержанию, и по форме, принесли на Север во второй половине XIX века книгоноши, их называли в Беломорье «ходебщики». На ярмарках, на гуляньях в престол книги и лубочные картинки продавали в ларьках и на прилавках наряду с лентами, бусами, пряниками, маковниками, сладкими рожками и свистульками.

В конце XIX века количество издаваемых в России книг, особенно произведений классиков, резко увеличилось. В 1887 году было, например, издано почти полтора миллиона экземпляров книг различных произведений Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Медный всадник», «Полтава», «Капитанская дочка», «Повести Белкина», «История Пугачева» и другие. Цена книги от одной до десяти копеек. Был издан десятитомник произведений Пушкина, стоил он 1 руб. 50 коп. Несколько позднее (1893—1895) Флорентий Федорович Павленков, издатель и книгопродавец, знаток русской литературы, издал знаменитую «Иллюстрированную Пушкинскую библиотеку», состоявшую из сорока книжек (цена 2 руб. 69 коп.). Каждую книжку можно было купить и отдельно.

В Керети мне удалось видеть лубок с подписью «Следствие порочной любви». Это рисунок на бумаге яркими красками, с преобладанием зеленой и синей, на текст стихотворения «Романс» («Под вечер, осенью ненастной, в далеких дева шла местах...»), написанного Пушкиным в 1814 году. Один лист лубка «Кавказский пленник» видела в Семже, владелица хранила его среди страниц Библии в виде закладки. Кажется, лубок на эту тему был издан на четырех листах. Каковы бы ни были эти лубки, все же это память и напоминание о Пушкине, об интересе и любви к нему народа. Сохранились же лубки в далеком Беломорье!

Еще в детстве посчастливилось мне услышать от Александры Яковлевны Залесской, крестьянки приморской деревни Чубола, рассказы об Александре Сергеевиче (она никогда не называла его иначе) и его произведениях. Жизнь ее сложилась необычно. Она роди-

лась в январе 1837 года и никогда не забывала, что год ее рождения — это и год трагической кончины Александра Сергеевича, а имя дали ей Александра; видела в этом какой-то скрытый смысл, значение, поэтому решила, что должна знать все о нем и о том, что он написал.

Восемнадцати лет, красавица синеглазая, она стала невестой. Жених ее был рыбак. Свадьбу решили играть после окончания полевых работ и осенней путины. Но — неожиданное несчастье. На жатве она серпом поранила ногу, ступня была изуродована. Почти два года она болела, но так и осталась хромой и до конца жизни передвигалась, опираясь на палку-посошок. Жениху она отказала, в сельском хозяйстве и на промысле ей не работать. Ушла в Архангельск и с 1857 года до кончины жила в нашей семье, «всегда при детях». Сохранились у нас в семье рассказы о том, как жених упрашивал ее вернуться в деревню, как «валялся в ее ногах». Она была непреклонна: «Не жена я, не мать, не хозяйка, куда я, хромоножка, ни с чем не управлюсь, бери другую жену». Решение это досталось и ей не так-то легко. Вскоре она собралась идти поклониться могиле легендарного Николая Мирликийского, покровителя моряков и рыбаков, а могила эта, по легенде, — в г. Бари на юге Италии. «Ему счастья попрошу, обидела я его, и сама умиротворюсь». Нашлась ей попутчица, постарше ее лет на пятнадцать; сапожник из Чуболы сшил ей особый сапожок, и весной 1859 года они отправились в путь. Слышала я позднее ее рассказ об этом путешествии, длилось оно почти четыре года. В пути к ним присоединился старый крестьянин из-под Вологды, а на Украине — две женщины. Крестьянин не возвратился из путешествия, остался лежать в чужой земле. Двигались пешком, где подвезут с обозом, где по реке на лодке; переночевать везде пускали. От Вологды шли на Ярославль, дальше на Киев, в Белую Криницу, через Австрию и — морем — в Италию. Обратный путь был из Бари морем на Одессу, дальше — опять «как господь пошлет». Так добрались они двое до Архангельска. Александра Яковлевна вернулась в нашу семью. Документом, по которому она путешествовала, была справка волостного писаря о том, что крестьянка Александра Залесская «идет на богомолье поклониться». Она помнила все дороги, города, села на их пути, о всех встре-

чах с людьми, рассказывала о том, как ее спутницы на долгих остановках работали в хозяйстве, а она шила и вязала. Отрабатывала приют и хлеб, не побиралась.

Все старшие в нашей семье звали ее по имени-отчеству, а детям она наказывала звать ее Старочка, имя закрепилось. Дети спрашивали: «Как вы, Старочка, шли с кривой ножкой?» Она отвечала: «Когда и плакала, а все шла». По рассказам, она возвратилась успокоенной, иногда задумывалась, по-прежнему любила вполголоса петь старинные песни и читать. Тихая улыбка была у нее, ласковая рука, все дети несли свои обиды и горести к ней.

Память у нее была поразительная, и удивительно было ее благоговейное, иначе не назовешь, отношение к Александру Сергеевичу. «Иное, о чем он писал, я и сама знала, а чего не знала, по его словам уразумела и сердцем поняла». Позднее, поняв, почувствовав глубину, мудрость и блистательность его творчества, я вспоминала, перечитывала записи рассказов Старочки, ее объяснения пушкинских творений и всегда поражалась ее чуткости к Слову, ви́дению образа в Слове. Стихия поэзии Пушкина владела и ее разумом, и сердцем, интересовало ее еще и то, как понимал он отношение человека к человеку.

Привожу некоторые записи ее рассказов.

«Думала об анчаре, запало мне стихотворение «Анчар». Анчар — дерево невидное, ствол, ветви кривые, корявые, шершавые, с бородавками, коричневые с краснинкой, а тусклые какие-то. Листы зеленые, а не светят, стучат на ветру, как жесть какая. Видно по всему— добра не несет, яд производит. Вот и растет одиноко, в пустыне, и не шумит приветно около его ни дубок, ни березонька, тенью не укрывают. Послал не для добра повелитель злодейный бедного раба, а за ядом. «И он послушно в путь потёк». Слово-то какое — «потёк». Александр Сергеевич увидел, как раб на свою смертную кончину идет и слово такое сказал, что и другие это увидели. Раб голодный голову склонил, плечи, руки опустил, понурился весь, ноги тонкие, темные, босые, одна за другую еле переступает, на голове нет покрытия, порты короткие, рваные, рубаха расхристана. Так и потёк, как вода бездумная, безудержная; не собирался, куска не взял, ослушаться не смеет и никто не смеет его остановить. Слово-то одно сказано, а какое —

«потёк», про человека в таком тяжелом случае по-иному и сказать нельзя. Только Александр Сергеевич мог обо всем подумать, а слово одно взять, и всем понятно, что там было. Боль душевная у Александра Сергеевича была за этого человека». Чувствовала Александра Яковлевна точность и емкость слова Пушкина.

Как-то вспомнила она стихотворение «Три ключа», которые «таинственно пробились» в степи. «Пробились, с трудом пришли на землю. Таинственно, не видать, не понять нам, откуда идут. Воды земные все такие таинственные. Первый ключ — это молодость, она кипит, сверкает, а ключ-то быстрый, бежит. Молодость тоже быстро пробежит. Второй ключ — это сказано о поэте, его слова — утешение несчастливым. О третьем ключе сказано, что он «холодный ключ забвенья», я не согласна с забвением; не может человек забывать, чем сердце жило, из памяти что и выпадет, а в сердце — навек».

Рассказ Александры Яковлевны о поэме «Медный всадник». «Разбиралась долго, что задумал Александр Сергеевич, когда сочинял «Медного всадника». Сама думаю, о Петре Алексеевиче хотел сказать, поэтому-то поэму по Петру назвал, не по наводнению; Петр Алексеевич возвеличен в памятнике, кумир на бронзовом коне, одной рукой держит коня — силён. Александру Сергеевичу, видать, памятник понравился. Много поняла я, когда не раз читала про грома грохотанье и другое. Гром падает с небес, опомниться не успеешь. Петр, как гром небесный тяжелую тучу разбил, к новой жизни поворотил. Не поняла спервоначалу слов «тяжело-звонкое скаканье», потом думаю, правильно сказано. Тяжко было народу, воевали, строили корабли, у нас в Соломбале слободка при верфи, много кораблей настроили. И везде людей мучили. Добились, научились во всем новом, слово «звонкое» об этом».

Интересовали Старочку «Повести Белкина». «В них человек с различных сторон показан, разумение и душа его в обстоятельствах жизни тоже разных. Мудро все описано и интересно, читаю и не начитаюсь». Особенно нравилась ей повесть «Станционный смотритель»; по ее словам, она «уразумела» отношения отца и дочери друг к другу. «Даша предана была отцу, а любовь к мужу пересилила, вот и оставила она его. Каялась, а что толку, погиб и помер старик. Свою семью человек выше родительской ставит, сердце зовет и потомство нужно че-

ловеку. Не осудил Дашу Александр Сергеевич, понял, а молод еще был».

Однажды Александра Яковлевна рассказывала нам, что она прочитала о друзьях и знакомых Пушкина. Один из членов нашей семьи, дядя Саша, сказал о том, что поэт часто увлекался женщинами и был в своих увлечениях непостоянен. Она спокойно ответила: «А как счастливы были, кого он любил, он на колена пред ними падал и свои стихи читал, а на ушко-то что шептал — у него все от сердца, не от чего другого, сам сказал—«не любить не может сердце».

Под впечатлением стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» решила она в годовщину поэта отслужить панихиду и в церкви подала записку на поминовение «за упокой души поэта божия Александра». Священник указал ей, что следует написать «раба божия Александра». Она записку взяла и ушла из церкви.

Особенно любила и ценила Александра Яковлевна стихотворение «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день»). Читать его вслух отказывалась. «Для себя не читаю, помню его всегда, про себя одно вспоминаю, другое. Тяжко было Александру Сергеевичу. Ничего нет тяжелее дум, мыслей, от них не уйдешь, все при тебе. Воспоминает он о прошлом, успокоения ему нет, не пришло еще.

Воспоминание безмолвно предо мной
  Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
  Я трепещу и проклинаю
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
  Но строк печальных не смываю.

Думала, почему строк печальных не смывает? То ли не может? Нет забвения... Писал он раньше о ключе забвения, думал, угасит он жар сердца. А после не хотел забыть, что в жизни уже было — не всегда ладное, видно, это было. Мысль моя последняя: не хотел он смывать свою прошлую жизнь, душу не хотел пустошить. Все, что было, при человеке должно остаться; все обдумать надо — что осудить, что оставить. Забвение — значит, легкость души, сердца бедность. Память о прошлом подскажет, как правильно жить. Понимаешь ли ты меня? Молода ты еще, потом поймешь».

В июне 1903 года Старочка объявила бабушке о том, что собирается в Одессу. «Пешем идти не придется, па-

ровоз довезет». Видя недоумение бабушки, она объяснила:

— Хочу навестить могилу Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой. Она — главное сердечное мечтание Александра Сергеевича. Не забыл ее до самой смерти. Ей писал: «Все в жертву памяти твоей...».

Уговоры отказаться от затеи не помогли. Все решил мой отец, ее воспитанник и любимец: «Отправляйся и возвращайся, скажи, чего не хватает». Она ответила: «Все изготовлено, а поеду на свои трудовые, подкопила для того».

Вернулась она через двадцать дней. Подробно описывала нам, детям, свое путешествие, поиски забытой могилы; рассказала, как привела ее в порядок, как ежедневно приносила Елизавете Ксаверьевне красные маки. Она почему-то была уверена, что это любимые цветы Александра Сергеевича. «От него и возлагала».

Было Старочке в то время шестьдесят шесть лет.

В селе Семжа в 1966 году слышала рассказы А. Е. Марковой о Пушкине. Знала она стихотворения «Буря мглою небо кроет...» («Зимний вечер»), «Зима, крестьянин торжествуя...», (из «Евгения Онегина»), «Под вечер, осенью ненастной...» («Романс»). Называет их песнями, два первых стихотворения знает со школы, третье запомнила — на гулянье пели.

«Сочинял песни Пушкин, хороший сочинитель, учительница мезенской школы о нем рассказывала. Песни про бурю и зиму учили в школе. Про бурю еще и пели, про зиму не пели, учили назубок, учительнице сказывали. Песню про несчастную девицу с младенцем слышала от женщины из города. Она приехала в Каменку, мы туда из Семжи ходили на большие гулянья, по угору вели хороводы и пели. Люблю петь про бурю, на голос она просится. На Мезени такие бури бывают, зовут поносухой. Пою иной раз, когды пряду, все словечки помню, зиму-то всю сказать не помню, не поется она. Про девицу хорошо поется, жалостно.

Учительница сказывала, Пушкина уважают, много книг писал. В календаре представлен, кудреватый такой. Молодой помер, ранили, мучился перед кончиной. На похороны много народу собралось, царю не понравилось, в деревне велел хоронить ночью. Учительница говорила,

завидки царя брали. Почет сочинителю был большой, он за народ стоял. Тоже в песнях высказывал, не знаю в каких.

Читала еще сама про метель, понравилось, другим свою книжечку читать давала. Друг по дружке о Пушкине и узнали. Еще есть у меня книжечка о пленнике. Еще картины были, баские, музей у меня купил все за рубль».

В 1910 году встретилась я с Варварой Агафеловой и ее маленькой семьей: матушкой-кресной и семилетним сыном Петрушей. Все они увлекались чтением и особенно выделяли Пушкина. В их библиотечке из сорока трех томиков было девятнадцать произведений Пушкина: издания Павленкова, Сытина, Маракуева и Суворина. Книги были в порядке, все на одной полке.

В тихий, неяркий июльский вечер, здесь такое время зовется «межень», сидели мы близ дома на угоре. Матушка со знанием рассказывала о старых книгах, рукописных и печатных, которые она видела в Неноксе и Лопшеньге, а затем и о своих стародавних, упомянула и о том, что их семья больше всего любит читать сказки и стихи Пушкина. «О всем скажет, и все понятно, все доходит». Я спросила, какие же произведения особенно нравятся.

Варвара улыбнулась, как всегда сдержанно, неясно и грустно и как бы немного насмешливо.

— Рассказ «Дубровский» понравился мне, читала не раз.

— Необычность жизни Дубровского привлекала вас? — спросила я.

— Нет, мне понравилась Маша, она любила, предана была Дубровскому. Обвенчали ее принуждением, слово она дала князю, перед всеми дала и перед благословящей иконой. Как Дубровский хотел ее после венца освободить, она сказала: «Поздно, дала клятву, ждала не дождалась вас» — и осталась с князем. Кольцом ее сковали, не любовью, любовь-то и потерялась для нее. Освободи ее Дубровский до венца, пошла бы за ним куда повел. У нас поморки такие в жизни бывают.

Матушка вмешалась в разговор. Была она чтица великая, хорошо читала устав, полуустав и некоторую скоропись. Ответ ее на вопрос о любимом произведении Пушкина был неожиданным.

— Читала много чего, все наши книжки, и у попадьи брала. Запала больше всего Земфира-цыганка, на память помню песню ее «Жги меня, режь меня». Любит она другого цыгана и все, и поет, и никого не убивает. Женщина так вот должна поступать. Другой, мужчина он, поет: «Гляжу как безумный на черную шаль». Недаром обезумел, двоих убил. Так женщина никогда не поступит. Алеко-то тоже убийца. Александр Сергеевич понял натуру женскую, а про мужчин и по себе знал.

— Петруша, а тебе что нравится?

— Что? «И грянул бой». Петр храбрый, всех побил, никого не боится. Еще читал про Алексашку Меньшикова, верный был. Мы с ребятами играем в Полтаву. А еще нравится про коня. В школе учительница читала. Ретивый был конь.

Много еще у нас было разговоров в этой семье о Пушкине.

С Прокопием Матвеевичем Деревлевым из Сюзьмы встречалась я неоднократно, последний раз в 1930 году, когда ему было уже 93 года, это был последний год его жизни. Он был одинок, но всегда прибран — старый матрос, прослуживший на флоте двадцать пять лет. По его словам, «экватор-то на корвете шесть разов пересекал, то-то было веселья. Все же служба строгая, не мух ловили». Был начитан, память сохранил превосходную. Любил он читать К. М. Станюковича, стихи Пушкина, знал их много на память. Любимыми были «Прощай, свободная стихия», «Ворон к ворону летит», «Воротился ночью мельник», «Скребницей чистил он коня». Подбор любимых произведений иной, чем у женщин.

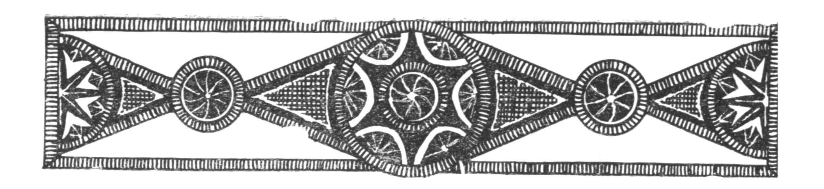
Незадолго до своей кончины он встал с лавки в большом углу, где обыкновенно лежал последние дни, взял в сенях весло и спустился на берег. Он прощался с морем. Дома я встретила его — он лег и вдруг громко сказал: «Слова-то какие — «свободная стихия», —и, помолчав, продолжил, — шуми, волнуйся подо мной великий океан». Человек-то — все же властелин и над свободной стихией: «Подо мной», — сказал. Не знаю, не слыхал больше таких других стихотворцев, умен, а, кажись, не стар был». Это был наш последний разговор.

Наибольший интерес к произведениям А. С. Пушкина проявляли женщины — уже не молодые, все грамотные, все читали по собственной инициативе, самостоятельно

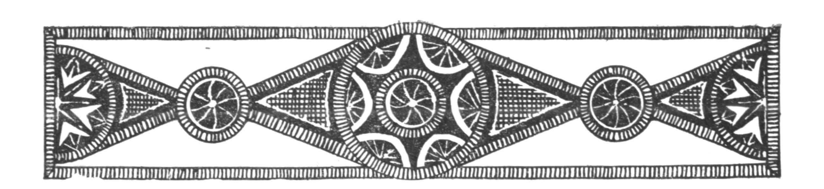
разбирались в прочитанном; мысли их о Пушкине и его произведениях никем не подсказаны, это их сердце, их собственная мысль откликнулись на великие творения правды и красоты, выраженные Словом.

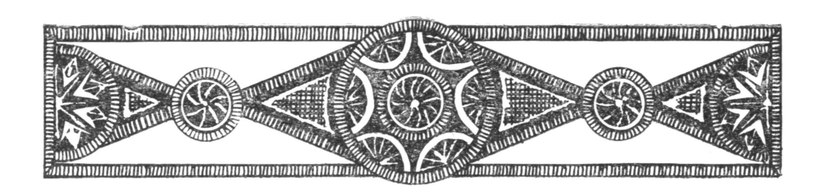
Имя его также было известно и детям Поморья. В этом великая заслуга сельского учителя. Ну и, конечно, заслуга издателей дешевой книги для народа, «книжки-копейки».

Поморы мужчины проявляли к произведениям Пушкина меньший интерес, чем женщины и дети, но и среди них были «пушкинисты». Знавала не одного.



ПОМОРСКИЙ НАКАЗ

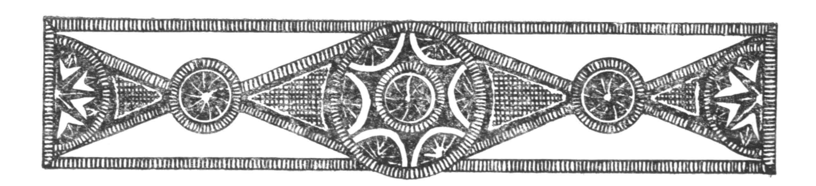


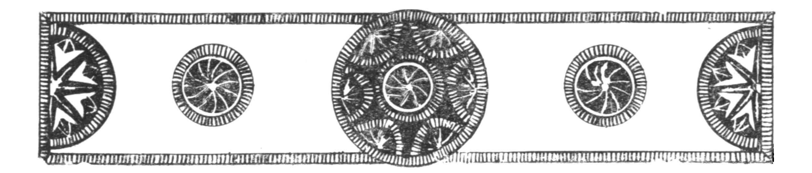


...Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе.

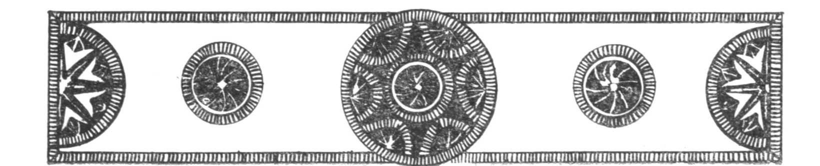
А. С. Пушкин

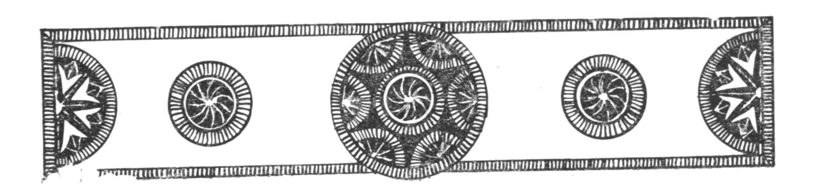
Затепли свечу воску ярого,
Вспомяни жизнь земную покинувших,
След-завет нам оставивших.
То завет прародительский,
Мудрость вековечная, изначальная —
Послужи Родине трудом ратным,
Потрудись на путях ее, на Земле,
Озари ее светом разума,
Возвеличь ее сердцем добрым,
Оставь ей потомков рачительных,
Воспой ее словом верным,
Принесешь ей радость мира и созидания.
Это Родине — благодарность твоя,
Счастье твое,
Награда тебе.

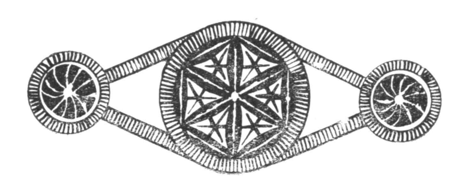


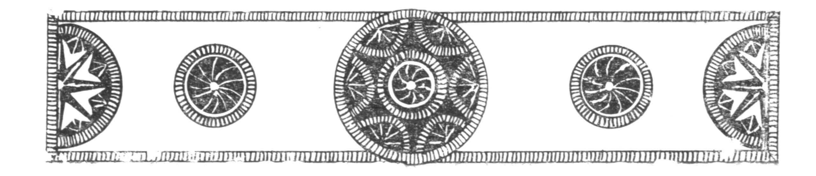


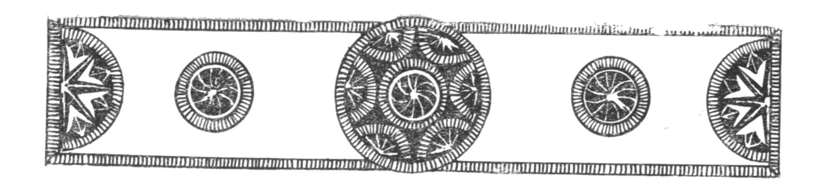
СЛОВАРЬ











Алабуш, алабыш, олабыш — блин, запеченный в печи. *Стары люди да робята до алабушей-то больно охочи.*

Арёшник — см. чевруй.

Бабу́шка — игрушка.

Баенка, байна — баня. *В байне попарить — здоровье поставить. В баенке попариться, пошоркаться, веником похлестаться — разлюбезно, как с промыслу придешь. Из баенки да нарядная — самая желанная.*

Баклан — одиночный подводный камень, частично обсыхающий в отлив. *По бакланам стрежем идем, они о сторонках спровожают.*

Баклыш — отдельно лежащий надводный камень. *На бакланах да у баклышей вода играет.*

Банка — подводная отмель.

Бар — предустьевое пространство в море.

Бухмарить — затуманивать.

В голомя — в открытое море. *Святой Нос, на нем бела башня, от него в голомя держит сувой большой.*

Венцы — ряд бревен в основании сруба строения. *На венцах дом растет. Свои венцы в каждом деле заложены.*

Веньгать — жаловаться, хныкать. *Плоха та жонка, что про семейны дела на людях веньгает. На промысле не повеньгаешь, осмеют.*

Вертеха — непостоянная, непоседливая, легкомысленная. *Така она вертеха, слову ейному нет веры. Сядь смирно, вертеха. Вертеха была, жениха хорошего и провертела.*

Верховка — вода, поднявшаяся в верховье реки в результате дождей, таяния снега, нагона ветром морской воды. *Верховку не удёржишь, придет, тебя не спросит.*

Взводень — высокая, крутая волна. *Взводень стеной встал, да как через глядень стеганет, задумаешься, как оно там, на промысле, далече ушли.*

Взглавье — оконечность острова или материкового мыса.

Воронец — широкая полка от стены до стены избы. *На воронци медну посуду ставим, наряжам избу-то.*

Всточник — ветер с востока.

Выжиться — трудиться до потери сил. *На покрут пойдут — выживутся.*

Вызудить — ветром с дождем пробрать до костей. *Как вызудит, жди еще и лихоманки. На весновальном вызудит, не знашь, как и отогреться.*

Галить — шуметь, безобразничать. *Зачнешь в дому галить —*

выведу. Придут с промысла удачного, галят, душу отводят, настрадались.

Глубник — ветер с северо-запада. *Глубник ветерок тяжелый. От глубника неприятностев много, в голомень отдирает.*

Говоркая — говорливая. *Слово говорит, как горох сыплет, говоркая. Много всего рассказать может, говоркая. Така она говоркая, ты слово, а она тебе десять.*

Голбчик — 1) полка у стенки печи, 2) припечье в виде шкафчика с дверцами, с полками внутри, с лазом в подполье. *Шкапны-то голбчики у богатеев, а у нас полками.*

Голик — изношенная метла, непригодная для подметания. *Голиком нашоркаешь что, чище не бывает.*

Голосунья — хорошая певунья. *Голосунья хоровод за собой ведет.*

Гурии — пирамиды из камней, служащие опознавательными знаками.

Дресва — мелко истолченный камень. *С дресвой нашоркаешь все в баенке, чище не нать.*

Дрягиль — грузчик. *Труд дрягилев до поту, а наживы и на хлеб не хватит, последний труд это.*

Живая вода — 1) приливная вода; 2) место, где при отливе судно стоит, «не обмеливаясь».

Жуковина — выпуклое украшение, металлическое или из поделочного камня.

Заборка — перегородка в жилом помещении. *Заборка не стена, а все к месту необходима, из одного жилья два сделат.*

Заветрилось — потемнело, почернело. *На мори как погода, да яруса неловкó ставить, да брать, да едовá плоха, так мужиков-то аж заветрит.*

Заводь — небольшая бухточка. *На осиновке в заводь ходи умеючи. В заводь зайдешь, а тебя водой и вынесет ненароком, стерегись.*

Закошáчье, зáкошечье — глубокое место за песчаными мелями — кошками. *В закошачье стать, кошек еще перечесть нать. Кошки-то пересыпаются, перекатываются, кажной раз опасайся их вперед закошачья.*

Заледки — рыба, которая подходит к берегам сразу после ледохода.

Залудье — водное пространство между берегом материка и лудами, мелкими голыми островками. *В залудье зашел, спокой нашел.*

Заспа — мелкая ячневая крупа для заправки похлебки. *Заспа губницу красит, сытит. Заспа в губницу идет, на налистники тоже.*

Заструга — 1) песчаная гряда, образовавшаяся при прибое на малой глубине, идет параллельно берегу; 2) снежная гряда, образующаяся при ветре. *Заструги на снегу смерзнут, как по волне шагаешь.*

Зыбка — колыбель, подвешенная на гибком очепе. *В зыбки дитё качали, морску жизнь и накачали. В зыбке ребенок скоре засыпат, укачается.*

Застолье — 1) стол, приготовленный (обряженный) для принятия пищи; 2) праздничное угощение за столом. *Застолье — вся семья на виду. Гостьбу собирают, так уж застолье длинно бывает.*

Кекуры — отвесные скалы.

Кондовая сосна — выросшая на сухой почве. *Всем взяла,*

потому и кондовá. Кондовá сосна веками стоит, леса красит. Кондовая сосна дом веками бережет.

Корга, корожка — каменистая мель. *Корги не кошки, завсегда на одном месте, знаешь их, а всё идешь стóрожко.*

Коржистый берег — у этого берега в прибрежье подводные и надводные корги. *Неприятный бережок.*

Кормщик, кормшик — руководитель промысловой артели, ответственный за ее работу и за судно на промысле, рулевой. *Кормщику большу душу иметь надобно, да и руку крепкую. Кормщику сердце крепкое надоть. Уважение кормщику большое, сами выбираем знающего. Вся печаль на промысле моя — по мне живут.*

Короб, коробейка — сундук из луба или плетенный из бересты. *Короба хороши из березового луба. Матушка (крёсная) свадебную рубаху шьет и невесте в короб кладет.*

Коротéнька — широкая кофта с рукавами, обычно принадлежность праздничного наряда. *В коротеньках и девки, и жонки красуются в праздники.*

Косач — тетерев. *Косач темный пером, а бровь красéет, в хвосту бéло перо есть, хвастýн.*

Кротка вода — вода затихающего течения при наибольшем понижении ее уровня при отливе и при наибольшем повышении его во время прилива.

Крошни — лямки с двумя деревянными дужками поперек их, служат для переноски груза на спине. *Крошни груз легчат. На крошнях покладь свою донесешь без тяготы.*

Круговерть — меняющийся ветер, зимой часто со снегом, поносухой, а летом с дождем. *Круговерть и с пути своротит. Круговертье страшенное, зги не видать.*

Куйпога — самая малая вода при отливе. *Куйпога в Мезенском нехороша, ульнешь с оборами* (см. оборы). *На куйпоги каменья у нас на мели все на виду, а пола вода их снимат.*

Лабордан — сушеная треска, предварительно вяленая, потрошеная, без головы, со становой костью. *Исправный лабордан — тоже рыба. Надоедат лабордан — сухость в ём.*

Ладка — глиняное удлиненной формы блюдо с краями, в нем запекают рыбу в печи. *В ладках рыба скуснее, чем со сковороды. В ладках рыбу макчут (макают).*

Лапа, рубка в лапу — соединение бревен здания под углом с зачисткой их концов, без выноса за пределы наружной плоскости стены. *В лапу бревна клали, а красивше как кладут в обло* (см. обло).

Лапость — ступня. *Без лапости становись на костыль. Лапости да коленья тоснут на погоду* (см. тоснут).

Лапотье — одежда. *Невеста-то лапотиста, из хорошого дому. Укладки лапотья всякого полны. Лапотистая она, да не хозяйственная, дом не в приборе.*

Лики — иконы. *Нашего поморского письма лики строгие, благостные, строгановски не в пример.*

Луда — каменистый остров, лишенный растительности.

Любушка — 1) ласкательное слово, 2) любимая женщина, не жена. *Така любушка ейна дочерь, хотим сватать за своего меньшого. К любушке ходил, а замуж другую взял.*

Марь — легкий туман, как дымка. *Марево, туман легкой, стоит недолго. Сквозь марь солнышка видать, да не лучится оно.*

Межень — 1) летнее тихое время, 2) середина лета. *В ме-*

жень-то на море удовольствие. Межень ждем.

Молодуха — молодая замужняя женщина. *Молодуха при свекрови в дому не хозяйка. Молодухой жила хорошо, не затуркивала свекровь, хороша свекровь была.*

Море взяло. Поморы не говорили «утонул», «погиб в море». Почти повсеместно говорили «море взяло». *Море берет без возврату. Море возьмет не спросит. Море берет — бездолит.*

Мошник — тетерев. *Хорош мошник, головка гладенька, хвост распускает.*

Наволок — тупой выдающийся мыс. *От наволоков, да от мысов к другим ходили, все примета.* (Пур-наволок — Бурный мыс — место основания города Архангельска).

Накат — прибой, при ветре с моря большой вал воды, обрушивающийся (накатывающийся) на берег. *Накат идет страшенный, не подойти, не выйти. Накат бьет, пески мутит, каменья воротит.*

Наледица — промысел морского зверя ранней весной. *Пошли на наледицу, обманулись, зверя еще мало.*

Наледица, наледь — вода, выступившая на поверхность льда. *Наледица больша, ветры несхожие пали.*

Наливанец — вода, выступившая на поверхность льда и покрывшаяся вновь тонким льдом. *Наливанец — обманщик.*

Нежна негушка — жизнь без нужды и забот. *Нежну негушку обещался, а женился, драться стал.*

Нилакса — длинная корга. *С верхней стороны над усьем есть нилакса небольша съемна.*

Нос, носок — острый мыс. *Святой Нос, Канин Нос.*

Носник — 1) сосуд с носком, 2) вперед смотрящий на носу судна. *Из носника мимо не прольешь. У носника глаз вострый.*

Ночва, ночевка — деревянный лоток 1) для обкатки хлебного каравая перед выпечкой для придания ему округлой или овальной формы, 2) над ночевкой просевали муку через сито. *Ночевка тесло любит* (см. тесло). *Ночевка обкатается и хлеба́ ровненьки.*

Няша — вязкий, илистый грунт. *Не ходь к носку в куйпогу — ульнешь в няшу.*

Обедник — юго-восточный ветер.

Обло, рубка в обло — соединение бревен здания под углом с выпуском концов их за пределы наружной плоскости стены. *Красива у нас изба, углы-то в обло складены.*

Обоконье — оконная рама. *Хорошо то обоконье, что ветру не пропущает.*

Оборотенка — коловорот. *Топор, тесло, долото, оборотенка — вот и весь наш дедов струмент, а каки чудеса строили.*

Оборы — тесьма, связанная из толстой шерстяной нити, ею подвязывали под коленом мягкие голенища меховых сапог для того, чтобы они не сползали. *Оборы хорошо завяжешь — не развяжешь.*

Обрядня — вся домашняя работа по хозяйству. *Обрядня да робята, всё работа жонки. Обрядня у нас каждодневная, как нет ее, так скукота.*

Оди́нок — подводный камень, отдельно лежащий.

Озадок — тыльная сторона строения. *По озадку тоже о хозяйстве* и хозяевах судят.

Окстись — перекрестись, приди в себя. *Говоришь неладное, окстись.*

П а в о з о к — небольшое крытое судно для перевозки грузов.

Па́ д е р а — ненастье, дождь со снегом или снег с дождем. *Падера падет, у стариков кости тянет. Падера, так уж и есть падера, ненасье — хуже нет.*

П а у ж н а — застолье между обедом и ужином (см. полдник).

П а х т а — каменный утес. *С пахты далече видать. На пахту — не на кекур, долезешь.*

П е ч и г а — посудина для запекания рыбы, обычно из глины.

П л а с т у н — соленая, провяленная рыба без становой кости, распластанная на две стороны от хребта. *Пластун и с кипятком поешь, идет.*

П л е т ю х а — корзина, плетенная из щепы, из вицы, из тонких длинных корней кустарника. *Корнева плетюха самая долговечная и везде годна.*

П о г о д а — ненастье. *На мори погода стоит, хуже нет. На мори погода играет страшенная.*

П о д г о л о в н и к — ларец деревянный, обитый полосами железа в линейку или клетку. *В подголовнике секреты хранят.*

П о к р у т, п о к р у т а — пай промысловика из общей добычи промысла на хозяина. *На покрут пойдешь от нужды, на свою головушку долги неоплатные навяжешь.*

П о к р у ч е н н и к, п о к р у т ч и к — рабочий-промысловик на хозяйском снаряжении и содержании, получающий определенный пай в добытой на промысле рыбы или морского зверя. *Покрученник — тяжелее доли нет.*

П о л д н и к, и л и п а у ж н а — прием пищи в период между обедом и ужином. *Полдник как закуска, а не наеда.*

П о л и в у х а — крупный камень на дне моря, на мелком месте возвышающийся почти до уровня вод, приливно-отливные воды переливают через него. *Играет волна на поливухах, красотиша. Плеску да переливу на поливухах — любование.*

П о л у́ н о ш н и к — северо-северо-восточный ветер. *Ох, полуношник, полуношник, не любой ты ветречек. Полуношник — свистун, сосвистит — держись. Полуношник налетит — не оглянешься.*

П о м е л о, п о м е л ь я — метла из коротких веток сосны для заметания угля и пепла в печи. *Без помела и под в печи не подпашешь и караваев не испечешь. Помелья рукѝ мастера просят.*

П о н о с у х а — метель. *Поносуха больша была, в сени снегу намела. Февральски поносухи самы больши.*

П о т а ч и т ь — баловать. *Испотачила бабка дитятко. Испотачили девку единственную, без жениха и оставили.*

П р и ж и м — подход льда к берегу.

П р о к у д и т ь — проказничать. *Такой парничок у нас прокудливый, да так трехлетки все бывают. Не прокудит малой, что-то болит, видно, у его.*

П у т и н а — сезон (время) промыслового рыболовства. *Путина двойно время жизни берет. От путины семья месяцами живет.*

П ы л ь н а м о р е с т о и т — при шторме ветер срывает пену с гребня взводня и разбивает ее в мельчайшие брызги. *Как запылит на море, остерегайся. Пыль на море страшенная, буй идет с востока.*

Р о п а к и — нагромождение льдин на берегах и морских мелях. *Ропаков наворотило, две сажени будет. Что две-то, бывает и пять.*

Р у н т о в к а — вяленая треска. *Рунтовка всегда пригодна, особливо на зеробойке.*

Р я ж е в щ и к — строитель, умеющий рубить шатровое покрытие в ряж, то есть с просветами между бревнами. *В ряж рубить понимать надо, не всяк может. В ряж рубят навек.*

С а л м а — пролив. *Вода меж островами и матерой салмой зовется. В салмы вода быстро ходит, струями идет.*

С и в е р к о — северный ветер. *Сиверко, он и есть сиверко, засвистит, холода несет. По зимам да осеням сиверко-то задувает.*

С т а м и к — каменистая подводная мель. *Стамики все у нас на учете, сидят на месте, не кошки.*

С т а м у х а — скопление льдин на стамике. *Стамуха удержу не знает, льдины лезут одна на другую.*

С т а р и н ы — рассказы о далеком прошлом, часто рифмованные, исполняются нараспев. *Старину послушать — утешение. Старина научит многому. На путине одно удовольствие в погоду старину слушать.*

С у в о й — волнение, водовороты при встрече двух противоположных течений.

Т е с л о — орудие, применяемое при изготовлении деревянных изделий с выгнутыми поверхностями. *Без тесла ни плотник, ни ложкарь не живут.*

Т е с т е н н и к — лопатка или нож для зачистки остатков теста на стенках и днище квашни. *Тестенник квашню обиходит.*

Т о р о с ы — ледяные горы, образовавшиеся при столкновении ледяных полей или при давлении их на берег. *Шум на море зимой — то торосы. Торосы и громыхание производят.*

Т о с н у т ь — болеть, ныть. *У каждого помора в старости ноги тоснут и руки беспокоят, это все рыбка. Тоснет рука, сна нет.*

Т у х т ы р ь — сосуд, сплетенный из бересты с узким горлом, закрываемым деревянной пробкой. *В тухтыре соль хранить сподручно, не сыреет и сыплет через узко горло.*

У к л а д к а — короб с крышкой, сплетенный из полос лыка. *В укладку-то приданое кладем невесте.*

У л ь н у т ь — увязнуть. *Ульнешь в няшу-то. Заврался и ульнул.*

Х о д е б щ и к — разносчик мелкого товара (коробейник). *Ходебщик придет, всего нанесет, только денежки припасай.*

Ц а п а х и, ц ы п а х и, ц е п а х и — лопатки с зацепами для чесания шерсти. *Цапахой шерстку треплю, нитку тонкую спряду, рукавичек навяжу.*

Ч е в р у й, ч о в р у й, а р е ш н и к — мелкий, округлый камень (крупнее галечника). *Чевруй тоже примета верная. Арешники все у нас на примету взяты.*

Ш о р к а т ь — тереть, протирать. *Полы, столы, скамьи некрашеные ране завсегда шоркали голиком.*

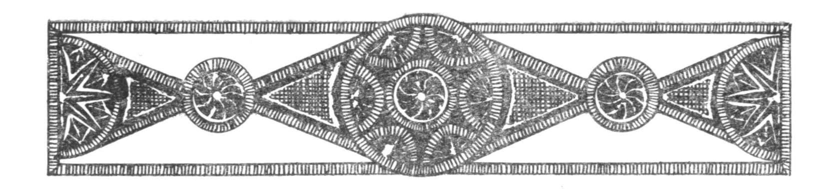
Ш т е н н и к — глиняный горшок с крышкой для варки щей в печи. *Штенник в печи, на застолье шти.*

Щ е л ь ё — отлогий каменистый берег, отполированный морской волной. *Море-то щельё так отмоет, чисто зеркало.*

Ю р и к и — пристань у низкого берега или ступени у крутого берега для ловли рыбы с приспособлениями для сушки рыболовных снастей.

Ю р о в щ и к — руководитель артели зверобоев. *За юровщиком, как за отцом. Юровщик в артели всем правит, всех учит.*

Я р ы - к р у т о я р ы — крутой некаменистый берег — глинистый, песчаный. *Приметны яры-крутояры средь каменья. На яру трава либо мошок светят.*



СОДЕРЖАНИЕ

Гемп К. П.

Г33 Сказ о Беломорье/ [Вступит. статья Ф. Абрамова; Предисл. Д. С. Лихачева]. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1983. — 240 с., портр., ил. — (Архангельск-400, 1584—1984).

В конце кн. Словарь: 233—238.

В этой книге запечатлены славные страницы истории Беломорья. Автор, Почетный член Географического общества СССР, известный краевед К. П. Гемп увлекательно рассказывает о труде, быте, творчестве поморов. Книга адресована широким кругам читателей.

Г $\frac{1905040000}{М157(03) — 83}$ 43 — 83

9(С12)
ББК63.3(2р — 4Арх.)

Художник А. С. Мазурин.

Ксения Петровна Гемп

СКАЗ О БЕЛОМОРЬЕ

Редактор *Е. Г. Аушева.*
Технический редактор *Н. Б. Буйновская.*
Младший редактор *В. И. Пригодина.*
Корректор *В. А. Фокина.*

Сдано в набор 13.03.83 г. Подписано в печать 12.08.83 г. Сл. 00022. Форм бум. 84×108/32 (бум. тип. № 1). Гарнитура «Литературная». Высокая печать. Физ. печ. л. 7,5. Усл. печ. л. 12,6. Уч.-изд. л. 12,697. Тираж 10 000. Заказ № 2790. Цена 85 коп.

Северо-Западное книжное издательство, 163061, Архангельск, пр. П. Виноградова, 61. Типография издательства Архангельского обкома КПСС, 163002, пр. Новгородский, 32.

35 коп.